LIFE FOR GOD

Лекции о проповеди

Филлипс Брукс

ИСКУССТВО ПРОПОВЕДИ

Полный русский перевод

1877



2026

LIFE FOR GOD

ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книги на русском и английском, аудиозаписи, духовные беседы и мастерская проповедника.

Веб-сайт

lifeforgod.church

Нажмите на адрес или отсканируйте QR-код камерой телефона.

Читать эту книгу онлайн

Об издании

Филлипс Брукс. Лекции о проповеди. Полное двуязычное издание: английский оригинал 1877 года и новый русский перевод. Лекции прочитаны в богословской школе Йельского колледжа в январе и феврале 1877 года.

Русский перевод подготовлен священником Сергеем Кауди для Life for God.

Основа: первое издание — New York: E. P. Dutton and Company, 1877; восемь лекций, печатные страницы 1–281, решение Корпорации Йельского колледжа об учреждении курса и авторское примечание. Английский текст сверен с историческим сканом; издание 1894 года использовано как вспомогательный свидетель при исправлении OCR. Существенные исправления печатных опечаток отмечены отдельно. Перевод полный, без сокращений; исторические богословские взгляды автора сохранены.

Английский оригинал 1877 года находится в общественном достоянии. Автор — Филлипс Брукс (1835–1893). Русский текст — новый перевод для Life for God; современные переводы не воспроизводились.

Богословские суждения и исторические примеры принадлежат автору. Редакционные примечания обозначены отдельно. Номера абзацев введены для ссылок и сопоставления языков.

Читать на сайте Life for God →

Источники

First edition (1877), E. P. Dutton and Company — complete historical scan

1877 edition — bibliographical record

1894 edition — secondary historical witness

Содержание

Об издании 2
Источники 2
Содержание 3
Учреждение лекторского курса 4
Лекция 1. Два начала проповеди 5
Лекция 2. Сам проповедник 33
Лекция 3. Проповедник в своём служении 64
Лекция 4. Замысел проповеди 94
Лекция 5. Создание проповеди 123
Лекция 6. Община 153
Лекция 7. Служение в нашу эпоху 182
Лекция 8. Ценность человеческой души 213
Примечания 235

Учреждение лекторского курса

[1] Из протоколов корпорации Йельского колледжа от 12 апреля 1871 года.

[2] «Постановлено принять предложение мистера Генри Н. Сейджа из Бруклина о пожертвовании десяти тысяч долларов на учреждение при богословском отделении лекторского курса по одной из отраслей пастырского богословия, под названием „Лекции Лаймана Бичера о проповеди“. Для чтения этого курса корпорация будет время от времени назначать служителя Евангелия любого евангельского вероисповедания, достигшего заметного успеха в особом труде христианского служения».

Лекция 1. Два начала проповеди

[1] Несколько месяцев назад, получив приглашение прочесть лекции, к которым я приступаю сегодня, я стал много размышлять о началах, которыми долгие годы руководствовался в своей жизни и работе лишь наполовину сознательно. Уже за это я в долгу перед теми, кто оказал мне честь своим приглашением. Человеку интересно самому исследовать, распознать и упорядочить мысли, которые медленно складывались в нём за годы напряжённого труда. Я буду очень рад, если и вам окажется интересно услышать мой рассказ о них, и очень благодарен, если вы найдёте в нём какую-либо помощь или воодушевление.

[2] Личный характер этого лекционного курса совершенно очевиден. Читать его всегда должны проповедники, продолжающие деятельное служение: они приезжают, чтобы говорить с вами о проповеди. Это не профессорская кафедра гомилетики. Каждый должен рассказать о собственной жизни в служении. Но, конечно, вы не ждёте от сменяющих друг друга лекторов ни череды занимательных случаев из их служения, ни простого перечисления их рабочих приёмов. Вряд ли этот курс задуман для того, чтобы превратить интервьюера в постоянное учреждение. Скорее следует надеяться, что, когда каждый проповедник по-своему говорит о нашем общем деле, всё ценное в его личном опыте войдёт в его слова — не прямо, а косвенно — и на время озарит для вас дар проповеднического служения тем же светом, каким он озарён для него самого.

[3] Приступая к этим лекциям, я испытываю нечто похожее на страх, который нередко чувствовал, начиная новую

проповедь. Мне часто казалось, что огромное количество слышимых людьми проповедей должно иметь одно дурное последствие: оно оставляет в их сознании смутное впечатление, будто христианская жизнь, к которой их непрестанно призывают, чрезвычайно трудна и сложна, раз для её объяснения требуется такое множество определений. Поэтому есть опасность, что и многочисленные лекции о проповеди внушат готовящимся проповедовать неприятное чувство, будто это дело подчинено бесчисленным правилам, трудно для понимания и нуждается в обширных разъяснениях. Меня самого поражает, как немного и как просто то, что я собираюсь вам сказать. Начала, которые человек может распознать в своём служении, очень широки и ясны. Их применение бесконечно разнообразно; но мне было бы весьма жаль, если бы мои слова заставили кого-либо из вас смешать эти немногие ясные начала с многочисленными способами их применения и потому счесть сложным и трудным дело, которое для подготовленного к нему и любящего его человека является самым лёгким и простым делом в жизни.

4 Позвольте сказать ещё одно вводное слово. Приглашённый читать эти лекции не может не помнить, что они проводятся каждый год и что до него здесь выступали весьма способные и добросовестные люди. Поэтому кое-что он вправе опустить, не опасаясь, что его сочтут несведущим или небрежным. Есть первоначальные положения первостепенной важности, которые он может подразумевать во всём, что говорит. Они столь основополагающи, что должны присутствовать всегда, а их сила — пронизывать любое рассмотрение дела, на них построенного. Но нет необходимости каждый год заново и намеренно их излагать. От этого лекционные курсы стали

бы очень однообразными. Можно предположить, что существуют некоторые исходные положения, с истинностью которых согласны все изучающие богословие и важность которых все они сознают.

5 Итак, я не могу начать разговор с вами, готовящимися к делу проповеди, не поздравив вас от всего сердца с открывающейся перед вами перспективой. Я не могу не засвидетельствовать радость той жизни, которой вы ожидаете. Ни одно другое поприще даже на мгновение не сравнится с этим по богатству и полноте отношений, связывающих человека с ближними, по глубокому и увлекательному проникновению в человеческую природу и по возможности наилучшего воспитания собственного характера. Его радость не стареет, его притягательность не ослабевает, его побуждающая сила не иссякает. На каждом этапе жизни оно открывается человеку по-разному; но если он таков, каким должен быть служитель, то нет возраста — от ранних лет, когда он брат для своих прихожан, до поздних дней, когда он словно отец детям, на которых смотрит с кафедры, — в котором служение не предлагало бы новую радость и новую возможность приносить пользу тому, чьё сердце ему принадлежит. Будем же всегда думать о нём именно так. Будем вместе радоваться, что в мире, где людям дано столько добрых и счастливых занятий, Бог даровал нам лучшее и счастливейшее и сделал нас проповедниками Своей Истины.

6 В этой вступительной лекции я намерен представить вам несколько мыслей, охватывающих всё поле, которое нам предстоит пройти. Последующие лекции будут главным образом приложениями и пояснениями начал, излагаемых сегодня. Поэтому первая лекция, возможно,

покажется несколько общей; но, быть может, она поможет нам лучше понимать друг друга по мере дальнейшего движения.

7 Итак, что такое проповедь, о которой мы собираемся говорить? Найти определение нетрудно. Проповедь — это сообщение истины человеком людям. В ней есть два существенных начала: истина и личность. Без любого из них она перестаёт быть проповедью. Самая подлинная истина, самое авторитетное выражение Божьей воли, сообщённые людям иным путём, чем через личность их брата-человека, ещё не являются проповеданной истиной. Представьте, что она написана на небе; представьте, что она воплощена в книге, которую так долго почитали непосредственным изречением Бога, что живая личность людей, написавших её страницы, почти стёрлась: ни в том, ни в другом случае проповеди нет. С другой стороны, если люди говорят другим людям то, что сами не выдают за истину, если они пользуются своим умением убеждать или развлекать, чтобы заставить других слушать их догадки, исполнять их волю или рукоплескать их остроумию, — это тоже не проповедь. В первом случае недостаёт личности, во втором — истины. Проповедь же есть передача истины через личность. Она должна содержать оба начала. Различие между двумя большими классами проповедей и проповедования заключается в неодинаковой мере их соединения. Недостатком одного или другого начала объясняется то, что всякая проповедь и всякий проповедник не достигают совершенного образца. Когда одно из этих начал отсутствует вовсе, речь перестаёт быть проповедью, а человек совершенно перестаёт быть проповедником.

8 Если мы вернёмся к истокам христианского служения, то увидим, насколько ясно и намеренно Иисус избрал именно этот способ распространения знания о Себе по всему миру. Несомненно, Ему были доступны и другие способы, но Он сознательно выбрал этот. Он научил Своей истине немногих людей, а затем сказал: «Теперь идите и расскажите эту истину другим». Оба начала присутствовали в Иоанне Крестителе, приготовлявшем Ему путь, в семидесяти, которых Он послал перед Собою, и в малой общине, вышедшей из горницы Пятидесятницы возвестить миру новое спасение. Если Он даровал им силу творить чудеса, сами чудеса не были конечной целью этого дара. Сила чудотворения была словно божественным огнём, пронизывавшим существо апостола и открывавшим его личность с обеих сторон: к Богу она открывалась через сознание внушающего трепет дара, к людям — через впечатляющую силу и благотворность, которыми была облечена. Всё особенное в обращении Христа с этими людьми составляло лишь часть процесса, посредством которого Учитель готовил их личность стать пригодным средством сообщения Своего Слова. Когда эта работа над ними завершилась, они стояли словно переплавленное стекло, способные совершенно принять Божью истину с одной стороны и совершенно передать её с другой стороны своей прозрачной природы.

9 Таков был способ, избранный Христом для распространения Своего Евангелия по миру. Этот способ можно было бы применить к распространению любой истины, но мы видим, почему он особенно соответствовал истине христианства. Ведь эта истина по преимуществу личностна. Как бы ни поддавалось Евангелие догматическому изложению, мы знаем, что его наиболее верное выражение — не догмат, а личная жизнь.

Христианство есть Христос. И легко понять, почему истина столь особенного рода, что личность может выступить и сказать о ней: «Я есмь Истина», всегда лучше всего передаётся через личность — более того, едва ли может быть передана вполне каким-либо иным путём. Поэтому та или иная форма проповеди должна быть необходима для утверждения и распространения познания Христа среди людей. Нечто подобное, по-видимому, заключено в словах Иисуса, обращённых к ученикам: «Как Отец Мой послал Меня в мир, так и Я посылаю вас в мир». Это было продолжением — вплоть до самых малых ответвлений новой системы воздействия — того личностного способа, который уже был заключён в самом Воплощении.

[10] Если это верно, то отсюда вытекает первое из всех положений о служении и подготовке к нему. Истина через Личность — так мы описываем подлинную проповедь. Истина должна действительно пройти через человека, а не просто сойти с его уст, не просто войти в его рассудок и выйти из-под его пера. Она должна пройти через его характер, привязанности, всё его умственное и нравственное существо. Она должна пройти через него по-настоящему. Думаю, при равной разумности и усердии в учении именно здесь заключается огромное различие, которое мы чувствуем между двумя проповедниками Слова. По одному Евангелие лишь скользнуло и дошло до нас, окрашенное его поверхностными особенностями, умалённое его собственной мелкостью. Через другого Евангелие прошло насквозь, и мы принимаем его отмеченным и окрылённым всей серьёзностью и силой, какие в нём есть. В первом случае человек был лишь печатным станком или трубой. Во втором он был настоящим человеком и подлинным Божьим вестником.

Мы знаем, что именно здесь расходятся взгляды богословов на участие библейских писателей в их труде. Некоторые желали видеть в них лишь пассивные орудия. Мысль нашего времени всё больше склоняется к тому, чтобы считать их деятельными вестниками Божьего Слова. Это более высокое понимание боговдохновенности. И это единственно верное понимание христианского проповеднического служения. Думаю, одно из самых недоуменных обстоятельств в жизни служителя — некоторая изменчивость этой способности передавать. Иногда вы открыты с обеих сторон: открыты Богу и ближнему. В другое время нечто засоряет и затуманивает вашу прозрачность. Вы будете знать различие между проповедями, произнесёнными в этих двух состояниях; и как бы мало община ни объясняла его себе и ни понимала его причин, она почувствует это различие весьма отчётливо.

[11] Но всё это, как я уже начал говорить, в целом определяет, в чём состоит подготовка к служению. Она должна быть не чем иным, как формированием человека. Она не может сводиться к обучению определённым приёмам. Она не может быть даже одним лишь снабжением обширными знаниями. Она должна быть не чем иным, как обработкой и закалкой всей человеческой природы, пока та не приобретёт строй и качество, позволяющие передавать истину. Вот как широк круг воспитания проповедника. Не мне — ни здесь, ни где бы то ни было — умалять работу наших богословских школ. И уж, конечно, не мне недооценивать полезность лекций о проповеди или книг о поведении духовенства. Но ничто из этого само по себе не создаёт проповедника. Читая жизнеописания самых плодотворных служителей, вы удивляетесь, насколько малая часть их воспитания была

получена в профессиональных учебных заведениях. Это действительная, но малая часть. Всё, что открывает их жизнь Богу и человеку, составляет часть их образования. Профессиональные школы снабжают их необходимым. Весь мир — вот школа, которая их создаёт. В этом великая ценность великих проповедников, если только мы умеем читать о них достаточно широко: не с мелочным желанием скопировать подробности их жизни, а с широким, сочувственным стремлением узнать, чем была их жизнь, увидеть, как они стали теми людьми, какими были. В этом ценность рассказа Бакстера о себе, так безоглядно уверенного в интересе читателя ко всему, что его касается; или мучительной, но драгоценной истории Робертсона; или сильной, мужественной, непрестанно развивавшейся жизни Нормана Маклеода. Думаю, любая из этих книг могла бы погубить молодого служителя, если бы он читал её ради рабочих методов, и могла бы сформировать его, если бы он читал её ради духа и духовной истории человека, о котором она рассказывает. В нашу эпоху, столь богатую жизнеописаниями, особенно жизнеописаниями проповедников, несомненно, стоит помнить: чужая жизнь может стать для нас либо благороднейшим вдохновением, либо тяжелейшей ношей — смотря по тому, принимаем ли мы её дух в свой дух или только привязываем её методы себе на спину, словно вязанку сухих прутьев.

[12] Ещё одним следствием установленного мною основного свойства проповеди должно быть непреходящее назначение кафедры. Время от времени мы слышим рассуждения о будущем проповеди. Будут ли люди и впредь проповедовать, а другие — приходить и слушать? Книги умножаются чрезвычайно быстро. В любое воскресное утро человек вправе быть достаточно

уверенным, что в выбранной с полки книге прочтёт нечто более мудро продуманное и более совершенно выраженное, чем услышит с кафедры, если пойдёт в церковь. Зачем же идти? Одним ответом, конечно, было бы утверждение, что проповедь — лишь одно из служений христианской Церкви и что, даже если бы она вышла из употребления, осталось бы достаточно оснований для совместного собрания христиан ради поклонения и братства. Но, даже рассматривая одну проповедь, мы должны признать: ничто никогда не заменит её из-за присутствующего в ней личностного начала. Никакое умножение книг не вытеснит человеческого голоса. Никакой вновь открытый путь к человеческому уму и сердцу не уничтожит готовности человека принимать впечатления через другого человека. Думаю, во всей поглощённости книгами, характерной для нашей много читающей эпохи, нет свидетельств подлинного ослабления интереса к проповеди. Пусть человек станет настоящим проповедником, действительно выражающим истину через собственную личность, — и поразительно, как люди соберутся его слушать. Нам говорят, что время кафедры прошло; а затем однажды утром в стране раздаётся голос истинного проповедника, и улицы наполняются толпами желающих его услышать — точно так же, как наполнялись улицы Константинополя, когда Златоуст собирался проповедовать в храме Апостолов, или улицы Лондона, когда Латимер мужественно возвещал свою истину у собора Святого Павла.

13 То же верно и о чтении проповедей. Думаю — и в другой лекции мне представится случай сказать об этом подробнее, — что проповедь, в которой при её создании заключено подлинное качество проповеди, сохраняет его даже в ограничениях рукописи или печати. И книги

проповедей, действительно несущие людям истину через личность, никогда ещё не покупали и не читали так широко, как сегодня.

14 Нет; истина о соперничестве печатной книги с устной проповедью, по-видимому, та же, что и о всяком соперничестве: оно усилило разборчивость. Есть вещи, которые прежде приходили слушать, а сегодня слушать не пойдут. Нечто лучшее того же рода можно прочесть дома. Но эти вещи — не проповеди. Они никогда проповедями и не были. Соперничество с печатью очень сильно помешало — и впредь помешает ещё сильнее; будем надеяться, оно не прекратится, пока вовсе не устранит — «кафедральное бормотание старых изречений», монотонное повторение общих мест и отвлечённостей. Но настоящая проповедь, произнесение живой истины живыми людьми, никогда не обладала большей силой, чем сегодня. Никогда люди не приходили к ней с большей серьёзностью и не уносили от неё больше добрых плодов.

15 Не могу не просить вас: в предстоящем вам служении остерегайтесь оправдывать собственные неудачи нелепыми разговорами об упорном отвращении нашей эпохи к проповеди Евангелия. Это самое низкое и поверхностное оправдание. У эпохи нет отвращения к проповеди как таковой. Возможно, она не станет слушать вашу проповедь. Если так случится, ищите недостаток прежде всего в своей проповеди, а не в эпохе. Меня удивляют готовность и терпение общин. Думаю, нам, служителям, здесь следует беречься двух вещей. Первая — только что названная склонность объяснять неуспех нашей проповеди нетерпением людей к тому, что лишь выдаёт себя за проповедь. Вторая — прямо

противоположная склонность: настолько положиться на многократно испытанное терпение людей, что мы станем работать небрежно, чувствуя себя слишком уверенными в своём влиянии. Тому, кто избежит обеих опасностей, кто сознаёт величие и дар своего дела, кто и уважает своих слушателей, и доверяет им, не предполагая ни их безразличия, которое парализовало бы его, ни гарантированного интереса, который сделал бы его небрежным, — такому человеку, думаю, незачем завидовать ни кафедре какого-либо проповедника прошлых веков, ни общине, которой тот проповедовал.

16 Посмотрим теперь несколько минут на эти два начала проповеди — Истину и Личность: одно всеобщее и неизменное, другое особенное и всегда различное. О каждом я хотел бы предложить вам несколько соображений.

17 Прежде всего — об Истине. Удивительно, как невозможно отделить её и рассмотреть совершенно саму по себе: личностное начало неизменно с нею связано. В Новом Завете мы постоянно встречаем две стороны служительского труда. Они воплощены в двух словах: «весть» и «свидетельство». «Вот весть, которую мы слышали от Него и возвещаем вам», — говорит святой Иоанн в своём первом Послании. «Мы свидетели Ему в сём», — говорит святой Пётр перед советом в Иерусалиме. Думаю, в соединении этих двух слов заключено основное понимание содержания всякой христианской проповеди. Это должна быть весть, данная нам для передачи, но такая весть, которую мы не можем передать, пока она не войдёт в наш собственный опыт и мы не сможем лично засвидетельствовать её духовную силу. Служитель, постоянно держащий перед глазами

слово «весть», когда готовит проповедь в кабинете или произносит её с кафедры, избавляется от склонности к произвольным, необузданным умствованиям и от одной лишь страсти к оригинальности. Тот, кто никогда не забывает слова «свидетельство», избавляется от неподлинности заученного повторения формул, которые он усвоил как догматически правильные, но никогда не пережил как истинные. Если мы с вами всегда будем сохранять это двойное сознание — что мы вестники и что мы свидетели, — то в нашей проповеди будут вся власть и независимость несомненной истины, а вместе с ними вся притягательность и убедительность личной веры. Будем говорить не мы, но Дух Отца нашего будет говорить в нас; и всё же именно наше сыновство даст голосу Отца выражение и истолкование для других Его детей.

18 Думаю, для исправления особых пороков проповеди, свойственных нашему времени, ничто не нужно так сильно, как новое распространение среди проповедников этого первоначального понимания истины, которую они должны сообщить, — понимания её как вести. Я уверен: один из главных источников слабости кафедры — чувство слушателей, что люди, встающие перед ними каждое воскресенье, выстраивали цепочки мыслей и обдумывали, как им «разработать тему», по обычному выражению. Здесь первый корень порочной привычки наших общин больше говорить о проповеднике, чем размышлять об истине. Певца, выступающего перед вами ради показа своего искусства, будут хвалить за остроумие, рифмы и голос.

19 Но о вестнике, который вбегает, задыхаясь, чтобы передать вам сообщение, забудут ради принесённой им вести. Среди множества слышанных мною проповедей

одну я всегда помню за то, как удивительно она была проникнута именно этим качеством. Это была проповедь английского писателя мистера Джорджа Макдональда, посетившего нашу страну несколько лет назад; в ней были многие достоинства и недостатки его интересного стиля. В ней были его смелая, мужественная честность и склонность к сентиментальности. Но над всем этим и сквозь всё это проходило одно свойство: это была весть от Бога этим людям, передаваемая через него. Человек боролся с языком, словно ребёнок со своей ещё несовершенной речью, которая не позволяет передать поручение так, как он его получил и держит в уме. Слушая, я как будто видел, насколько слабым рядом с этим было то, как другие проповедники развлекали меня и добивались моего восхищения работой их мысли. Здесь было евангелие. Здесь была настоящая весть. И вы слушали, забывая о проповеднике.

[20] Кем бы ещё вы ни считали себя в служении, никогда не утрачивайте этого основного понимания себя как вестника. Нетрудно было бы объяснить, как лучше всего его сохранить; но для этого пришлось бы рассказать всю историю христианской жизни. Здесь первое требование состоит в том, чтобы христианский проповедник прежде всего был христианином, чтобы он глубоко сознавал Божью власть и безусловность Христовой истины. Это одно из исходных положений, которое я позволил себе подразумевать в начале лекции. Однако, не вступая на столь широкое поле, скажу одну вещь об этом понимании проповеди как передачи вести, которая постоянно поражает меня. Думаю, оно сообщило бы нашей проповеди именно то качество, которого ей, по моему мнению, сейчас больше всего недостаёт. Это качество — широта. Я не имею в виду ни свободомыслия, ни

терпимости к мнениям, ни чего-либо подобного. Я говорю о размахе движения, о великом возвещении великих истин, о великом утверждении великих обязанностей — в отличие от мелочного, утончённого и изобретательного разбора маленьких тем, побочных вопросов душевной жизни, анатомических подробностей, богословских безделушек. Возьмите однажды в субботу перечень тем, на которые служители большого города собираются проповедовать на следующий день. Посмотрите, как многие словно разыскивали темы в странных уголках Библии, каким малым и причудливым оказывается тот кусочек истины, который будет предложен их слушателям. А затем обратитесь к Барроу, Тиллотсону или Бушнеллу: «О подражании Христу»; «О том, что Бог — единственное счастье человека»; «Жизнь каждого человека — замысел Божий». Есть искусство миниатюры на слоновой кости и есть искусство великих фресок. Один род искусства соответствует одним предметам, другой — другим. Полагаю, все проповедники проходят через какой-то причудливый период: их пленяет необычный текст; им нравится выяснять, что можно в течение часа сказать о маленькой теме, на которую большинство людей смогли бы говорить лишь две минуты; они больше стремятся к утончённости, чем к силе, и к оригинальности больше, чем к истине. Но по мере того как проповедник всё глубже понимает проповедь как весть, он выбирается из этих колючих зарослей. Он выходит на открытое место. Его труд становится свободнее, смелее и шире. Он любит простейшие тексты и великие истины, которые подобно рекам текут через всю жизнь. Божье владычество, Христово искупление, надежда человека в Духе, дар исполнения долга, любовь к

человеку в Спасителе — вот мощная музыка, которую пытается уловить его душа.

21 Ещё одно следствие понимания проповеди как передачи вести состоит в том, что оно устанавливает правильное отношение между нами и всем историческим христианством. Весть никогда нельзя возвещать так, словно мы первые, кто её сообщает. Это та же весть, которую Церковь возвещала во все века. За возвещающим её сегодня стоит всё множество возвещавших её в прошлом. Рядом с ним — все, кто возвещает её теперь. Весть есть его свидетельство; но часть уверенности, с которой он её принял, происходит из того, что это та самая весть, которая дошла до нас от начала. С обеих сторон люди убеждаются, как трудно сохранить верное равновесие и соотношение между общинным и личным пониманием христианской жизни. Но сегодня все признают необходимость обоих. Тождество Церкви во все времена заключается в тождестве вести, которую она всегда должна была нести от своего Господа людям. Все внешние выражения непрерывного тождества Церкви ценны лишь постольку, поскольку утверждают это действительное тождество. В этом подлинный смысл сохранения старинных обрядов, употребления древних литургий и приверженности формам управления, которые представляются апостольскими. Еретиком во все времена был не заблуждающийся как таковой, а своевольный человек — независимо от того, верны или ошибочны его суждения. «Человек может быть еретиком и в истине», — говорит Милтон. Это человек, который принимает свои мысли не как весть от Бога, а как собственные открытия и тем самым отсекает себя от Церкви всех веков, несущей эту весть. Я уверен: чем полнее вы будете понимать свою проповедь как передачу вести, тем драгоценнее и

реальнее станет для вас Церковь, тем подлиннее будет казаться вам братство со всеми вестниками той же вести — в любых непривычных одеждах и на любых непривычных языках.

22 Говоря об Истине, которую проповедник должен возвещать, я хотел бы отметить две склонности, несомненно узнаваемые вами как весьма характерные для нашего времени. Одна — склонность к критическому рассмотрению, другая — к механизму. Обе дурны. Под первой я понимаю повсеместно распространённую привычку рассматривать вещи извне: обсуждать их отношения, исследовать их природу, но не отдавать себя под их власть. Во всякую эпоху проповедь в некоторой мере следует изменениям всей литературы и жизни. Наша эпоха необычайно любит критическое исследование. Она разбирает всё на части ради самого удовольствия изучать его природу. Она изучает силы не для того, чтобы подчиниться им, а чтобы понять их. Она говорит о вещах ради чистого удовольствия обсуждения. Таковы многие стихи и проза о природе и её чудесах, многие исследования народного духа и общественных установлений, многие тонкие разборы человеческой природы. Всё это хорошо; однако это нечто отличное от сердечного сочувствия, благодаря которому человек становится добровольным слугой одной из этих сил, настоящим любителем природы, верным гражданином или истинным другом. Было бы странно, если бы эта склонность к критическому рассмотрению не овладела и современной проповедью. И она ею овладевает. Стремление наблюдать идеи в действии и говорить об их отношениях и взаимном влиянии лишь как о задачах, в которых ум находит удовольствие, без действительного вхождения души в сами идеи, — эта критическая

склонность вторгается на кафедру. В результате возникает огромное количество проповедей, которые следует назвать проповедями о Христе в отличие от проповедования Христа. Многие проповедники, кажется, ничем иным и не занимаются: всё время обсуждают христианство как проблему вместо того, чтобы возвещать христианство как весть и провозглашать Христа Спасителем.

23 Я не недооцениваю их рассуждений. Но, думаю, мы должны всегда сознавать, что подобные рассуждения — не образец и не идеал проповеди. Они могут быть необходимы в данное время, но это не тот труд, который совершали великие апостольские проповедники и к которому истинный проповедник всегда будет стремиться больше всего. Люди, определяющие и защищающие веру, нужны всегда; но плохо той церкви, чьи служители считают своим подлинным делом определять и защищать веру, а не проповедовать Евангелие. Остерегайтесь склонности проповедовать о христианстве и старайтесь проповедовать Христа. Обсуждать отношения христианства и науки, христианства и общества, христианства и политики — хорошо. Представить людям Христа так, чтобы они познали Его и в благодарности и любви стали Его, — это гораздо лучше. Хорошо быть Гершелем, который описывает солнце; но лучше быть Прометеем, который приносит солнечный огонь на землю.

24 Вторую склонность я назвал склонностью к механизму. Это расположение проповедника забывать, что Евангелие Христово прежде всего обращено к отдельным людям и что конечная его цель — спасение множества человеческих душ. Между первым обращением Евангелия

к душе человека и тем временем, когда эта душа будет собрана на небе вместе со всем сонмом искупленных, Евангелие использует множество более или менее безличных механизмов. Здесь вступает в действие Церковь со всеми своими средствами.

25 Проповедник действует через них. Но если хотя бы на мгновение он примет их за цель своего труда, если отведёт взор от отдельной души как от драгоценности, которую должен обрести, он отступит от своего высшего назначения и утратит лучшую силу. Всё более убеждаюсь: всякая плодотворная проповедь обращается к отдельным людям. Церковь существует ради души. Говоря это, я думаю не о недостатке или опасности какой-либо одной группы христиан — ни своей, ни чужой. Склонность трудиться ради средств, а не ради цели встречается повсюду. Друзья мои, усвойте это в начале служения: как только вы решите, что какой-либо недостаток или опасность всецело принадлежат чужой системе, а вам не грозят, столь же несомненно вы воспроизведёте этот недостаток или опасность в какой-то форме в собственной жизни. Вот, несомненно, хорошее правило: всякий раз, когда видишь недостаток в другом человеке или в другой церкви, ищи его в себе и в своей церкви. Где та церковь, которой не грозит оценить свои механизмы выше своих целей, служители которой не искушаются проповедовать ради своей конфессии и её драгоценных особенностей вместо людей и их драгоценных душ? Пусть ваша проповедь обращается к отдельным людям, а к Церкви — всегда как к живущей ради отдельных людей и состоящей из них.

26 О втором начале проповеди — личности проповедника — предстоит сказать очень многое, особенно в следующей

лекции. Но две-три основополагающие вещи я хочу сказать уже сегодня.

[27] Первая состоит в том, что признание личностного начала предполагает признание индивидуальности каждого проповедника. Те же соображения, по которым хорошо, что Евангелие не написано на небе и не вверено одной лишь почти безличной книге, делают в высшей степени желательным, чтобы каждый проповедник выражал истину по-своему, согласно собственной природе. Она должна проходить не только через человека вообще, но через разных людей. Делая людей однообразными, вы в значительной мере лишаете их человеческой силы. Если бы можно было заставить всех мыслить одинаково, это почти означало бы, что никто вообще не мыслит: как при совместном движении всей земли и всего находящегося на ней всё кажется неподвижным. Между тем глубокое сознание серьёзности служительского дела часто подавляет свободную индивидуальность проповедника и его терпимость к индивидуальности других проповедников. Собственный способ работы для него — вопрос совести, а не вкуса; полностью пробуждённая совесть бывает нетерпимее вкуса. Или, действуя в прямо противоположном направлении, совесть говорит ему, что в таком священном деле он не вправе давать места своим личным особенностям; и тогда он пытается привязать себя к способам работы самых успешных проповедников Слова. Я встречал служителей обоих типов: одних совесть делала упрямыми, других — податливыми; одних она закаляла до твёрдости стали, других размягчала до мягкости воска. Каковы бы ни были причины, склонность к подавлению индивидуальности проповедника несомненна. Она проявляется в малом: в одинаковой одежде

проповедников, в стремлении к единообразию языка. Она проявляется и в великом: во все века наблюдалось желание провести границу правоверия внутри более широких границ истины. Будем разумно и трезво противостоять этому влиянию. Бог, пославший людей проповедовать Евангелие Своего Сына в их человечности, послал каждого из них особым образом проповедовать его в его собственной человечности. Непременно будьте собой; но пусть этот добрый результат достигается не выращиванием поверхностных особенностей и чудачеств. Пусть он достигается обретением истинного «я», исполненного вашей собственной веры и вашей собственной любви. Глубокая самобытность благородна, поверхностная оригинальность жалка. Так легко быть Иоанном Крестителем, если дело лишь в пустыне, верблюжьей шерсти, акридах и диком мёде. Но преданное сердце, из которого исходят слова, и пламенные слова, которые следует произнести, — совсем иное.

[28] Далее, размышляя о личности проповедника, мы никогда не должны забывать: он постоянно живёт среди мыслей и слов, которые для других людей редки и случаются лишь изредка и которые сохраняют свою священность главным образом благодаря этой редкости. Этот факт всегда следует учитывать, оценивая влияния, действующие в жизни проповедника. Какова будет его сила? Я уверен, что он нередко ослабляет служителя. Уверен, что многие люди, которые, проповедуя лишь изредка среди других занятий, проповедовали бы подлинно и пламенно, становятся бесчувственными к своему священному труду из-за постоянного соприкосновения со священным. Непрерывное обращение с истиной уменьшает их способность нести её другим — словно труба, по которой непрестанно течёт вода,

обрастает осадком и хуже пропускает новый поток. Кроме того, это способствует самообману и преувеличению или искажению собственной истории. Человек, постоянно говорящий об определённых переживаниях и побуждающий других к ним прийти, со временем уже в силу самого их описания начинает думать, что пережил их сам. Вы умоляете людей покаяться и настолько осваиваете всю теорию покаяния, что вам трудно понять: сами вы не покаялись. Вы увещеваете к терпению, пока перестаёте видеть и слышать собственное нетерпение. Так железнодорожный служащий, отправляющий поезда, со временем может почувствовать, будто сам побывал во всех городах на линии, названия которых непрестанно выкрикивал пассажирам и до которых годами продавал билеты, хотя, возможно, за всё это время он ни разу не покидал своей маленькой промежуточной станции. Я знаю, что всё это бывает; но, несомненно, недостаток заключён в человеке, а не в истине. Средство исцеления, конечно, не в том, чтобы сделать истину менее привычной. Есть более верное отношение к проповеди, при котором её постоянство помогает, а не вредит подлинности и серьёзности вашего труда. Чем настойчивее вы призываете других к святости, тем сильнее могут становиться жажда и алкание святости в собственном сердце. Близкое знакомство порождает презрение лишь к презренным вещам или у презренных людей. На поговорку о том, что никто не герой для своего камердинера, достаточно ответить: только для камердинера истинно великий человек и не является героем. Вы должны черпать побуждение, радость и возрастающую святость своей жизни в привычном труде. Как проповедник вы погибли, если привычность мертвит и покрывает коркой ваши силы, а не оживляет и

раскрывает их. Всё зависит от того, трудитесь ли вы ради своего Учителя и Его народа или ради себя. Второй род труда медленно убивает, первый даёт всё больше жизни.

[29] Настоящая подготовка личности проповедника к передаче истины совершается через раскрытие его жизни в обе стороны: навстречу истине Божьей и навстречу нуждам человека. Воспринять во всей их силе человеческие нужды и беды, увидеть трудности и опасности этой жизни, а затем всем существом знать, что ничто, кроме Христа и Его Искупления, не может вполне удовлетворить эти нужды, — вот что делает человека проповедником. Горе тому, кто открыт лишь к человеку, кто знает только, как человек несчастен и порочен, но не имеет Божьей силы, которую мог бы ему принести. Он кладёт на рану добрую, но бессильную руку. Он пытается облегчить её своим сочувствием и своей философией. Источник всего, что он говорит, — он сам. За ним нет Бога. Он не проповедник. Чутьё проповедника немедленно ощущает, как Христос и человеческая нужда принадлежат друг другу: оно не считает Христа слишком далёким для этой нужды, а нужду — слишком ничтожной для Христа. Никогда не бойтесь приносить превосходящие разум тайны нашей веры — жизнь, смерть и воскресение Христа — на помощь самым скромным и обычным человеческим нуждам. Есть род проповеди, который приберегает их для великих потрясений, а обыкновенные скорби утешает и обыкновенные грехи обличает низшими соображениями житейской пользы. Такая проповедь не достигает цели. Она не обращается ни к низшим, ни к высшим способностям человеческого восприятия. Она бесполезна и как закон, и как евангелие. Она похожа на реку, замёрзшую слишком сильно, чтобы по ней можно было плыть, но недостаточно прочно, чтобы

лёд выдерживал тяжесть. Проповедуя, никогда не бойтесь соединить самое возвышенное побуждение с самой малой обязанностью, а самое беспредельное утешение — с самой малой бедой. Они сами докажут свою уместность, если только обязанность и беда действительны и вы поняли их вполне верно.

30 Итак, начала проповеди — Истина и Личность. Истина сама по себе — начало постоянное и устойчивое; личность — изменяющееся и растущее. В их соединении заложена возможность совместить тождество с разнообразием, устойчивость с ростом в проповеди Евангелия. Истина, которую проповедуете вы, та же, что проповедует ваш брат с соседней кафедры или на миссионерской станции на другом конце земли. Если бы это было не так, вы не получали бы силы друг от друга. Вы не стояли бы спина к спине против врага, поддерживая друг друга, как стоите теперь. Но способ, которым вы возвещаете истину, различен; и каждый из вас достигает слуха тех, кто остался бы глух к самым убедительным интонациям другого. Евангелие, которое вы проповедуете сейчас, — то же Евангелие, которое вы возвещали сразу после рукоположения, в первой проповеди, произносить которую было одновременно так страшно и так радостно. Но если всё это время вы оставались живым человеком, теперь вы проповедуете его иначе, чем тогда. Если бы истина изменилась, ваша жизнь утратила бы единство. Истина не изменилась; зато вы выросли в её понимании, в способности принимать и передавать её. В жизни служителя нет радости сильнее этой — с возрастом замечать тождество и развитие в собственной проповеди истины. Это похоже на удовольствие человека, наблюдающего рост собственного тела или ума либо посаженного им дерева. Всё остаётся тем же и всё же

становится больше. Полагаю, многим служителям знакомо открытие: предложения в их старых проповедях, написанных много лет назад, содержат смыслы и понимание истины, которыми они обладают теперь, но о которых в те ранние дни вовсе не думали. Истина уже была там, но человек ещё не усвоил её. Истина не изменилась, но человек стал более способным вместить её. Здесь сила, посредством которой истина входит в отношения с каждой отдельной эпохой: её приносят эпохе люди этой эпохи. Если проповедник не человек своего времени, не сочувствует его духу, его проповедь терпит неудачу. Он удивляется, отчего истина стала столь бессильной. Но потерпела неудачу не истина, а другое начало — личность. Вот почему старый проповедник иногда обнаруживает, что его всем известная сила исчезла, и жалуется: хотя он ещё полон сил, люди обращаются к молодым за трудом, которого некогда с радостью ожидали от него. Есть и благородные противоположные примеры: старики, чья личность столь же живо отзывается на перемены эпохи, сколь проповедуемая ими истина верна Божьему Слову. Они обладают силой, которую ни один молодой человек ещё не может проявить, и мир охотно её признаёт. Люди предпочли бы видеть на кафедрах старых, а не молодых, если бы старые приносили им оба начала проповеди: вечно истинную веру и личность, живо и чутко сочувствующую их нынешней жизни. Если можно получить лишь одно, люди склонны выбирать второе; но на самом деле им нужны оба. И благороднейшие служения в Церкви — служения стариков, сохранивших свежесть юности.

[31] Именно равновесие и соразмерность этих двух начал проповеди обеспечивают правильное соотношение

независимости и приспособления в характере проповедника. Желание отвечать нуждам людей, которым мы проповедуем, легко может стать угодничеством. Многие теряли мужественное достоинство и вызывали презрение людей, искренне желая завоевать их сердца для своей великой вести. Здесь вступает в действие устойчивое и неизменное начало нашего труда. Есть нечто, чем вы обязаны истине и самому себе как её проповеднику. Есть черта, за которой приспособление становится слабостью. Есть вещи, которыми святой Павел не станет ни для какого человека. Только сознание неизменных требований истины, которую мы посланы возвещать, может удержать нас от того, чтобы давать людям желаемое вместо необходимого. Ясно сознавайте, чего ваша истина требует от вас. Считайте недостойным себя как служителя Евангелия утешать какую-либо скорбь меньшим, чем вся полнота евангельского утешения, или призывать какую-либо душу быть совершенно счастливой в чём-либо меньшем, чем высшая духовная радость. Думаю, самые печальные минуты в жизни каждого проповедника — те, когда он уходит с кафедры, сознавая, что дал людям не высшее из того, что умел дать, а лишь высшее из того, чего они умели попросить. Он удовлетворил их и совершенно недоволен собой. Когда друг Александра Великого попросил у него десять талантов, тот предложил пятьдесят; и на ответ, что достаточно десяти, сказал: «Верно: тебе достаточно получить десять, но мне недостаточно столько дать».

[32] Если служение некоторых стариков ослабляет упадок личностного начала, то, думаю, пренебрежение началом безусловной истины принижает проповедническое дело в глазах многих молодых людей и удерживает столь многих из тех, кто должен был бы служить, от его священных

обязанностей. Повсеместное сомнение во всякой истине, а отчасти и общее стремление проповедников выяснять и удовлетворять желания и требования слушателей — обе причины вместе породили впечатление, будто у служения нет ни определённых целей, ни ясной вести, будто проповедник — всего лишь неразборчивый угодник человеческих прихотей, желающий людям добра, движимый некоторой общей доброжелательностью, но вовсе не пророк, возвещающий им положительную истину, которой они прежде не знали, — возвещающий её независимо от того, любят они её или ненавидят. Разве не такое впечатление о служении сложилось у многих молодых людей? Разве не естественно, что с таким впечатлением они ищут иной способ помочь ближним? И разве сам способ работы проповедников не даёт обильных оснований для подобного впечатления? Повсюду — чтобы укрепить слабого проповедника, оживить вялого, отрезвить легкомысленного, обновить старого, помочь молодому созреть — нам нужно верное равновесие и соразмерность двух начал проповеднического труда: истины, которую он должен сообщить, и личности, через которую должен её сообщить.

[33] Цель проповеди всегда должна быть первым условием, определяющим её характер. Конечная причина — вот что в действительности придаёт форму жизни всякой вещи. А для чего существует проповедь? Ответ приходит без колебаний: для спасения людей. Но представление о том, что такое спасение, никогда не было вполне единым и определённым. На протяжении всей истории проповеди мы видим, как её характер непрерывно менялся, возвышался или падал, расширялся или сужался вместе с постоянной переменой человеческих представлений о том, что значит быть спасённым. Если спасение было

чем-то здешним и нынешним, проповедь становилась прямым обращением к настоящей жизни человека. Если спасение было чем-то будущим и далёким, проповедь замирала до отдалённого шёпота и становилась наглядной и сильной лишь благодаря ярким картинам мучений, обращённым к чувствам, боль которых людям легче всего понять. Если спастись означало спастись от греха, проповедь становилась духовной. Если спастись означало спастись от наказания, проповедь становилась судебной и расчётливой. Если спасение было возвышением общества, проповедь превращалась в лекцию об общественной науке. Первое, что вам следует сделать, — ясно понять, ради чего вы намерены проповедовать, от чего собираетесь спасать людей. Ваше убеждение об этом определит весь характер вашего служения. Отсутствию ясного ответа на этот вопрос, полной неопределённости относительно того, какая опасность угрожает людям, мы обязаны той расплывчатостью, с которой проповедуют столь многие наши проповедники.

[34] Мир ещё не слышал своей лучшей проповеди. Если людям предстоит познать больше Божьей истины и если возвещающие её могут стать чище и благочестивее, то когда-нибудь проповедь, оба начала которой будут полнее, чем когда-либо прежде, должна стать более совершенной силой. Но такая лучшая проповедь не возникнет благодаря внезапному порыву вдохновения. Как нынешняя проповедь вышла из проповеди прошлого, так будущая проповедь выйдет из нынешней. Если мы будем проповедовать настолько честно, разумно и духовно, насколько можем, мы не только принесём добро в собственные дни, но и каким-то действительным, хотя и

не записанным нигде образом поможем будущим победам любимого нами дела.

Лекция 2. Сам проповедник

[1] В прошлой лекции я достаточно ясно показал, какое значение, по моему убеждению, имеет личность проповедника в том деле, на которое он поставлен. Во второй и третьей лекциях я хочу задержаться на этом предмете и рассмотреть именно проповедника. После этого мы обратимся к самой проповеди. Рассматривая же проповедника, мы можем сначала говорить о нём самом, а затем о его отношении к своему труду. Это разграничение невозможно провести совершенно точно и последовательно: оба взгляда переходят один в другой. Но оно поможет мне расположить то, что я намерен сказать, и, если не держаться его слишком жёстко, поможет нашей мысли. Сегодня я беру первую из этих двух тем и буду говорить о личном характере проповедника — о самом проповеднике.

[2] Итак, прежде всего спросим: какой человек может быть служителем? Для Церкви было бы благом, если бы этот вопрос задавали чаще. Отчасти потому, что побуждения, приводящие молодого человека к служению, столь личны и духовны; отчасти потому, что сознание величия этого труда и его высокого достоинства заставляет нас бояться преградить путь к нему достойному человеку; отчасти потому, что ныне жатвы так много, а работников так мало, — по этим и другим причинам мы слишком мало разбираем, кого избираем для проповеди. И многие попадают на проповедническое поприще лишь затем, чтобы слишком поздно обнаружить: это не их место. Когда наш Господь выбирал тех, кому предстояло вверить Своё Евангелие, нас поражают обдуманность и торжественность этого действия: «И случилось в те дни,

что Он взошёл на гору помолиться и всю ночь провёл в молитве к Богу. Когда же настал день, Он призвал Своих учеников и из них избрал двенадцать, которых и назвал апостолами». В Церкви, несомненно, возросло серьёзное сомнение во всём образе действий благотворителей и благотворительных обществ, которые щедрыми предложениями помощи привлекают к служению наряду со многими благородными и верными людьми множество таких, кто при всей своей доброте и благочестии принадлежит к числу людей, не создающих себе места в жизни, а ждущих, пока кто-нибудь по доброте создаст его за них и поместит их туда. Я убеждён, что служение никогда не обретёт своего подлинного достоинства и силы, пока не будет избавлено от попрошайничества, — пока юноши, всем сердцем стремящиеся проповедовать, не будут прокладывать себе путь к кафедре с той же энергией и через те же трудности, что встречают бесчисленные молодые люди на пути к деловой жизни и адвокатуре. Мы верим, что побуждение, приводящее людей на кафедру, гораздо святее. Следовательно, оно должно быть гораздо сильнее; однако мы доверяем его силе меньше, чем силе честолюбия и своекорыстия. Это часть того общего обращения со служителями, которое лишает их мужества; об этом мне ещё предстоит говорить.

[3] При наших широких представлениях о личной свободе и правах личности нелегко определить, какими средствами проверки и удостоверения следует пользоваться, допуская проповедников к священному труду. Но более всего нам нужны ясное понимание и более полное изложение подлинных условий успеха служителя, а значит, и тех качеств, которых мы вправе требовать от себя и друг от друга, прежде чем признать призвание к

служению действительным. Не следует проводить границу слишком узко. Ничто в служении не поражает так, как одинаково плодотворный труд людей совершенно противоположного склада. Вы смотрите на великого проповедника и говорите: «Вот образец. Кто похож на него, тот способен проповедовать». Но едва ваш удобный вывод готов, как с соседней кафедры раздаётся другой голос, и та же сила Божия совершенно иным путём достигает человеческих сердец, а ваш аккуратный вывод трещит и рассыпается. Сперджен проповедует в своей Суррейской скинии, Лиддон — в соборе Святого Павла; оба великие проповедники, и всё же едва ли найдутся два человека, менее похожие друг на друга. Так и должно быть. Если проповедник в конечном счёте лишь представитель человечества, представитель христиан, особым образом и в силу особого поставления совершающий то, что все люди должны делать для Христа и ближнего, тогда должно быть столько же типов проповедников, сколько типов христиан; а типов христиан столько же, сколько типов людей.

4 Очевидно поэтому, что необходимые качества проповедника можно перечислить лишь в самом общем виде. С этой оговоркой мы можем попробовать их назвать.

5 Я не должен долго останавливаться на первом из всех необходимых качеств, хотя ни на мгновение не сомневаюсь, что оно действительно стоит первым. Это личное благочестие — глубокое обладание в собственной душе той верой, надеждой и решимостью, которые предстоит предложить ближним ради их новой жизни. Только огонь зажигает огонь. Всем своим существом знать, что значит жить Христом; принадлежать Ему, а не себе; быть столь исполненным благодарности за

совершённое Им для нас и за то, чем Он непрестанно остаётся для нас, чтобы Его воля и Его слава стали единственными желаниями нашей жизни, — как хотел бы я найти новые, неотразимо сильные слова для старой, всеми признанной истины: это первая необходимость для проповедника; проповедовать без этого — труд утомительный, неудовлетворяющий и бесплодный; проповедовать с этим — постоянная честь и радость.

6 Вслед за этим я назову то, что можно определить как умственное и духовное бескорыстие. Я говорю не столько о нравственном, сколько об интеллектуальном качестве. Я имею в виду такой склад ума, который всегда воспринимает истину с мыслью о её передаче другим, а всякое духовное благо принимает как вверенное ему для других. Обе эти способности можно развивать, но я полагаю, что в этом отношении между людьми существует природное различие. Одни по природе воспринимают истину отвлечённо. Они следуют за её развитием, исследуют её глубины, но никогда не думают о том, чтобы нести её в мир. Они так поглощены созерцанием того, что она есть, что не заботятся испытать, что она может совершить. Другие неизбежно мыслят в связи с другими людьми, и первый их порыв при встрече с каждой новой истиной — дать ей проявить всю полноту своей силы. Их любовь к истине всегда дополняется любовью к человеку. Это два явно различных склада. Один из них не создаёт проповедника, а другой создаёт.

7 Далее, способность надеяться — необходимое свойство природы истинного проповедника. Вы знаете, как из всякого сложного положения один человек естественно извлекает всё, что даёт надежду, тогда как другой

неизменно собирает всё, что ведёт к отчаянию. Человек второго склада тоже может быть полезен. Есть задачи и времена, для которых никакой иной пророк, кроме Кассандры, не подходит. На некоторых древнееврейских пророков возлагались обязанности, которые они, быть может, могли исполнить с сердцем, совершенно лишённым луча света. Но такой настрой совершенно несовместим с христианским Евангелием. Проповедник порой может обличать, укорять и устрашать. Делая это, он ещё не проявляет того, что отличает именно христианского проповедника. Если его природа такова, что ему необходимо непрестанно страшиться и бояться, он не создан для проповеди Евангелия.

[8] Если вслед за этим я назову определённое физическое состояние необходимым условием для проповедника, то сделаю это по весьма серьёзным основаниям. Меня поражает, сколь легкомысленно и поверхностно, на мой взгляд, нередко относятся к здоровью проповедника. Дело не просто в том, что больного служителя всегда что-то сдерживает и ограничивает. Не только в том, что заключённая в нём истина находит несовершенное выражение. Дело в том, что труд проповедника — самое всеобъемлющее человеческое занятие. Он вводит человека в более разнообразные отношения с ближними, чем любой другой труд. Это не исполнение некоторого перечня обязанностей. Вы глубоко ошибётесь, если так подумаете и попытаетесь записать в договоре с приходом, что именно обязаны делать и где кончаются ваши обязанности. Здесь сам человек отдаёт себя как посредника, через которого Божье влияние может достигать его ближних. Такое приношение охватывает всего человека, а весь человек — это тело и душа вместе. Поэтому совершенный проповедник приносит совершенно

здоровое тело вместе с совершенно здравой душой. Помните: забота о здоровье, сбережение нервных сил, постановка голоса и всё остальное, что вы делаете для тела, — не просто бережное обращение с органами ради их пригодности к определённой работе. Это часть полного посвящения себя Богу, которое нельзя разделить на части и которое в своей целостности делает вас посредником, через которого Бог достигает жизни Своих детей. Я не могу не думать, что столь высокое понимание посвящения тела обличило бы многие вполне почтенные на вид грехи против здоровья, в которых склонны жить служители, и принесло бы ту глубокую пользу, какой совершенно не достигают попытки подлатать тело особыми средствами к отдельному случаю.

[9] Назову ещё только одно качество. Я не знаю, как его обозначить, но убеждён: в каждом проповедующем должно быть хоть что-то от того свойства, которое мы в высокой степени замечаем у человека, о котором, увидев его на кафедре, говорим: «Он прирождённый проповедник». Назовите это воодушевлением, красноречием, притягательной силой, даром проповеди. Это качество, которое воспламеняется при виде людей, испытывает острую радость при встрече истины с человеческим умом и узнаёт в этой встрече Божий замысел: они созданы друг для друга. Это сила, благодаря которой человек забывает себя и становится лишь живой, сочувствующей средой между истиной по одну сторону и человеком по другую. Это вдохновение, захваченность — то, что, как мне доводилось слышать, называют «демоном» проповеди. Что-то от этого качества должно быть у всякого, кто действительно проповедует. Тот, у кого его вовсе нет, не может быть проповедником.

10 Все перечисленные мною качества существуют в разной степени. Все они поддаются развитию, если только вообще присутствуют. Все их трудно проверить иначе, чем самим трудом проповеди. Поэтому я вполне признаю: нелегко вывести из них набор испытаний, посредством которых секретарь общества содействия образованию мог бы проверять кандидатов — как вербовщик измеряет добровольцам грудь — и отмечать, пригодны они к служению или нет. И всё же, думаю, из этого перечня перед нами возникает ясный образ человека, которому следует быть проповедником. Он исполнен любви Христовой, принимает всякую истину и всякое благо как вверенные ему для других, способен учить в лучшем смысле слова, полон надежды, здоров и считает здоровье, насколько оно от него зависит, частью посвящения себя Богу. Он готов не только, как многие, терпеть болезнь ради Божьего дела, но и сохранять здоровье ради Божьего дела; он идёт проповедовать с тем воодушевлением, которое показывает, что именно для этого Бог его создал. Чем ближе вы, друзья мои, сможете подойти к этому образу, тем лучшими проповедниками станете и тем увереннее сможете быть, что вообще имеете право проповедовать.

11 Следующий вопрос таков: когда перед вами подходящий человек, из которого можно сделать проповедника, какие перемены должны произойти с ним, чтобы он стал им? Формальное рукоположение, которое его со временем ожидает, конечно, не будет значить ничего, если не выразит действительных переживаний, наполнивших годы с того времени, как его душа услышала то, что признала Божьим призывом к служению. Мы можем отделить его от прочих людей какими угодно торжественными обрядами, но он

останется таким же, как они, если сила того дела, к которому он стремится, не вошла в него во время тщательной подготовки и не сделала его иным.

12 В чём состоит это отличие? Какова истинная подготовка? Прежде всего, и это очевиднее всего, — его специальные занятия, дух которых постепенно его наполняет. Большинство людей начинает по-настоящему учиться, когда приступает к подготовке к своей профессии. Те, кто весьма праздно провёл годы общего образования в колледже, принимаются за труд, когда у дверей профессионального учебного заведения перед ними вырисовывается дело их жизни. Так птица, до этого бесцельно кружившая то здесь, то там, наконец замечает вдали свой дом и летит к нему стрелой. Но сказать ли вам, как часто мне приходила мысль, что именно возвышенность побуждений молодого служителя к учению способна несколько сбить его с толку и сделать его занятия менее добросовестными, чем занятия людей, ищущих других профессий по менее высоким побуждениям? Высочайшее побуждение часто сначала ослепляет и лишь затем освещает. Это один из путей, которыми свет внутри нас становится тьмой. Я никогда не забуду своего первого знакомства с богословской школой. Я пришёл из колледжа, где люди усердно учились, но не говорили о вере. За всю жизнь я ни разу не бывал на молитвенном собрании. Первым местом, куда меня привели в семинарии, оказалось именно такое собрание; и никогда не изгладится во мне впечатление от благоговения, с каким эти люди молились и увещевали друг друга. Казалось, их души целиком вознесены ввысь, всё их существо горит. Я сидел растерянный и пристыженный, а ушёл подавленным. На следующий день я встретил некоторых из тех же людей на занятии, где

отвечали урок по греческому языку. Сказать о некоторых из самых благочестивых, что они не выучили урока, было бы мало. Всё их поведение показывало, что они вообще никогда не учили уроков, что они не усвоили азов упорной, добросовестной, совестливой учёбы. Котёл никак не был соединён с двигателем. Благочестие не касалось того труда, который здесь и сейчас был для них делом — единственным делом, за которое им следовало браться. Вскоре я кое-что понял и о том, куда же уходил пар. Среди нас была весьма в ходу своего рода любительская, преждевременная проповедь. Мы спешили заняться тем, что называли «нашим делом». Мы жили в слабом полумраке будущего служения. Окрестные жители прозвали нас «пасторочками». О, мои товарищи по учению, специальное изучение богословия и всего, что к нему относится, — вот чем проповедник должен заниматься всегда; однако впоследствии он никогда не сможет делать этого так, как в благословенные дни тишины в Аравии, когда Христос уже призвал его, а апостолы ещё не возложили на него рук. Во многих отношениях невежественное духовенство, сколь бы благочестиво оно ни было, хуже полного его отсутствия. Чем сильнее раскаляется и пылает пустая голова, тем пустее, тоньше и суше она становится. «Знание священника, — сказал святой Франциск Сальский, — восьмое таинство Церкви».

13 Но подготовка характера служителя к его делу предполагает и нечто более внутреннее, чем накопление знаний. Входящее в него знание встречает в нём намерение проповедовать и под его воздействием преображается. Оно становится учением. Учение означает вот что: истину, рассматриваемую с точки зрения её преподавания. Причина нелюбви многих к

слову «учение» заключается в их нелюбви к самому представлению о готовности учиться, которое с ним связано. Как гражданин, готовящийся к государственной должности, рассматривает закон и устройство государства не отвлечённо, а применительно к народу, которым стремится управлять; как воспитанник учительского учебного заведения усваивает всё с подспудным сознанием, что когда-нибудь ему самому предстоит этому учить, и это сознание влияет на все способы его учения, — так и готовящийся стать проповедником не может познавать истину подобно тому, кто просто изучает богословие ради него самого. Он всегда чувствует, как она через него тянется к людям, которым ему однажды предстоит её нести. Он не может избавиться от этого сознания. Оно влияет на всё его понимание. Нетрудно видеть, что в нём заключены свои опасности. Оно грозит беспристрастию, с каким он будет искать истину. Оно искушает предпочесть те её формы, которые легче всего использовать для наставления, тем, которые свидетельствуют о себе как о наиболее простой и чистой истине. Такова опасность для всех проповедников. Тот, кто намерен стать проповедником, должен её остерегаться, но не может избежать её, пожертвовав привычкой, из которой она возникает. Он должен принимать истину как человек, которому предстоит ей учить. Он не может и не должен учиться так, будто искомая им истина предназначена исключительно для его собственного развития и обогащения. И результат такой привычки, при должном предохранении от её опасных склонностей, будет трояким. Во-первых, она даст более глубокое и торжественное чувство ответственности в поиске истины; во-вторых — желание найти человеческую сторону каждой истины, точку, где всякое размышление

касается человечества; в-третьих — широту, которая рождается из постоянного присутствия в уме того факта, что истина имеет разные стороны и предстаёт перед разными людьми по-разному, согласно их нуждам и складу.

[14] Наряду с этой подготовкой к проповеди идёт другая. Я сказал, что человек, учащийся с намерением учить, приучается видеть и постигать человеческую сторону всего богословия. Верно и то, что он учится постигать Божественную сторону всего человеческого. Источники, которыми должна питаться его проповедь, открываются со всех сторон. Я помню, как в ожидании проповеднического труда каждая прочитанная книга и каждый человек, с которым я беседовал, казались мне исполненными проповедей. Все они подсказывали нечто, что, по моему ощущению, проповеднику Евангелия следовало сказать людям. В дальнейшем я не во всех них нашёл проповеди; думаю, не потому, что ошибался, полагая, что они там есть, а потому, что стал искать их с меньшим рвением или меньшей проницательностью. Не думаю, чтобы служители в чём-либо отличались друг от друга, а все мы — от самих себя в разные времена, больше, чем именно в этой открытости ума и способности извлекать из всего начала истинного наставления. В этом отношении я вижу два разряда служителей с разными привычками. Один отказывается от всего за пределами самых узких границ специально религиозного чтения и ничего не знает ни о литературе, ни об искусстве, ни о науке. Другой развивает все эти интересы, но его жизнь в них совершенно отделена от жизни проповедника. Он словно меняет свою природу, когда отворачивается от проповеди и берёт с полки книгу. Да и сами полки у него разделены: светские и религиозные книги стоят по

противоположным сторонам кабинета. Есть нечто лучше обоих путей: подлинная преданность нашему делу, которая после рукоположения ни на минуту не позволяет его оставить, — однажды проповедники, навсегда проповедники; и вместе с тем столь широкое понимание этого дела, что всё, чем достойный человек вправе заниматься или что он вправе знать, может оказать ему некоторую помощь. Вот чему вам следует закладывать основание в эти дни подготовки.

15 Вы видите, как высоко я ценю эту подготовку, благодаря которой благочестивый и ревностный человек приобретает пригодность к своему делу, обозначенную святым Павлом в слове, которое он дважды обращает к Тимофею: «способный учить», «διδακτικός», человек, умеющий наставлять. К этому не приходят случайно или внезапной вспышкой пламенного усердия. Несомненно, в необученной речи новообращённого есть сила, которой часто недостаёт зрелым словам образованного проповедника. Но наличие этой силы — не столько похвала новообращённому, сколько укор образованному проповеднику за то, что по мере своего образования он не обладает ею ещё полнее. И какими бы иными дарами ни обладал человек, сразу перескочивший от собственного переживания на кафедру, ему почти наверняка будет недоставать широты сочувствия и понимания, которая приходит в занятиях за годы ожидания. Он будет знать, что другие люди устроены иначе, чем он, но по-настоящему понимать будет лишь себя и проповедовать им так, словно они такие же. Он уподобится человеку, о котором рассказывает архиепископ Уэйтли: слепому от рождения, который впоследствии прозрел. «Он говорил, что знал: комната, в которой он находится, должна быть частью дома; но не

мог представить, что весь дом может выглядеть больше этой одной комнаты». Так и наш новый христианский опыт лишь постепенно осознаёт, что составляет только одну часть всеобщей христианской жизни. Лишь по мере того, как изучение ведёт нас из комнаты в комнату, весь дом становится для нас действительным.

16 Предположим теперь, что наш служитель уже проповедует, и спросим далее: какие составляющие личной силы дадут ему успех? Помните, что успех в проповеди не есть нечто единообразное и неизменное. Он различен у всех, кого мы называем успешными, поэтому качества, обеспечивающие его, можно описать лишь в самых широких и общих чертах. Особые успехи требуют особой пригодности. Но тот, кто обладает перечисляемыми мною качествами, непременно достигнет успеха где-нибудь и каким-нибудь образом.

17 И первым среди начал силы, приносящих успех, я должен поставить первостепенное значение характера — личной честности и чистоты, которые запечатлеваются в наблюдающих их людях. В «Воспоминаниях о Джоне Гэмпдене» лорда Ньюджента есть очень примечательное замечание. Говоря об английской Реформации, он приходит к такому общему наблюдению: «В самом деле, ни одна иерархия и ни одно вероисповедание никогда не были низвергнуты народом только из-за своих теоретических догматов, пока поведение духовенства оставалось неподкупным и соответствовало исповедуемым им убеждениям». Я считаю это совершенно верным. И всегда удивительно видеть, насколько сильнее симпатии и антипатии, принадлежащие нравственной природе человека, чем чисто умственные. Бакстер в одном интересном месте

рассказывает, как во время гражданских войн «множество простолюдинов невежественных, но благонравных стекалось к парламенту и наполняло его войска лишь потому, что они слышали, как одни бранились за Книгу общих молитв и епископов, а те, кто был против них, молились. И все известные мне рассудительные люди, выступавшие против парламента, обычно говорили: „У короля дело правее, зато у парламента люди лучше“». Лучшие люди всегда победят более правое дело. Полагаю, никакое дело не может быть настолько правым, чтобы не пасть, если его поддерживают дурные люди, а противостоит ему заблуждение, защитники которого ведут безупречную жизнь. Истина должна победить, но прежде она должна воплотиться в доброте. И в служении не только поверхностный предрассудок, но и самый здравый разум заставляет судить об уме и духовности не столько по взглядам людей, сколько по тому, как они этих взглядов держатся и какими людьми эти взгляды, по-видимому, их делают. Какие бы странные и возмутительные чудачества порой ни встречались в служении, несомненно и всегда ободряюще вот что: никто не добивается в нём прочного успеха, если не может убедить людей в своей чистоте и преданности; а единственный надёжный и долговечный способ убедить людей в собственной преданности и чистоте — быть тем, кем хочешь слыть.

[18] Рядом с этой основополагающей необходимостью характера я ставлю как источник силы проповедника свободу от озабоченности собой. Я вспоминаю молодого человека, которого знал на служении: он выполнял столько работы, что люди дивились, а умерев рано, оставил после себя силу, действие которой будет продолжаться ещё долго после того, как забудется его

имя. Главной чертой его характера было забвение себя. Перед каждым делом он не ставил себе двух вопросов: во-первых, «Как сделать это с наибольшей пользой для других?» и, во-вторых, «Как сделать это с наибольшей честью для себя?» Казалось, ему приходил на ум лишь первый вопрос; и, когда дело было выполнено так, чтобы как можно совершеннее достигнуть намеченного результата, он оставлял его и переходил к следующему. В такой простоте — удивительная ясность и сбережение сил. Никто ещё не задумывался о том, хорошо ли он проповедует, не ослабляя тем самым своей проповеди. Думаю, в жизни проповедника мало мгновений более высоких и радостных, чем то, которое иногда наступает, когда вы стоите перед общиной и вас мучают вопросы о достоинстве вашей проповеди — ненавистные вопросы, от которых вы не можете отделаться, — и наконец внезапно или постепенно обнаруживаете, что захвачены силой своей истины, поглощены одним желанием передать её тем, кому проповедуете. Тогда подняты все паруса, и ваша проповедь смело выходит в открытое море, оставляя ваше «я» на сухом берегу, где оно удерживало её на мели. Второй вопрос исчезает из вашего труда по мере того, как первый становится настойчивее. Никто не достигает полной силы, пока второй вопрос не исчезнет совершенно. Преданность делу подобна свече, которую, по рассказу Вазари, Микеланджело носил на лбу, прикрепив к картонному колпаку: она не давала его собственной тени падать на работу, пока он высекал статуи.[2]

[19] Следующее начало силы проповедника — подлинное уважение к людям, которым он проповедует. Мне не хотелось бы говорить, насколько редкой я считаю эту силу и насколько обильным источником слабости — её

отсутствие. Истинной душевной симпатии довольно много. Много расположения к отдельным людям в наших общинах, которые интересны сами по себе и интересуются тем, что интересно нам. Много и сознания, что духовенство нуждается в сотрудничестве мирян и потому должно поддерживать близость с ними. Но действительного, глубокого уважения к мужчинам и женщинам, которым мы проповедуем, просто как к мужчинам и женщинам; высокого признания заложенных в них возможностей; чувства, что мы принадлежим им, а не они нам, — этого, думаю, слишком мало. Между тем без этого в проповеднике не может быть настоящей силы. Теперь, когда способность господствовать над мирянами милостиво отнята у нас, мы покровительственно снисходим к ним. Не раз тон священнослужителя, говорящего об отношениях проповедника и народа и с самыми добрыми намерениями излагающего их взаимные обязанности, напоминает проповедь средневекового проповедника. Рассуждая о том же предмете — о необходимом сотрудничестве духовенства и мирян, — он взял текст из Иова 1:14: «Волы пахали, а ослицы паслись рядом с ними». Высокомерный проповедник не способен хорошо проповедовать. Никто не проповедует хорошо без глубокого и сильного признания ценности человека. Служителю нередко приходится отказываться от общества образованных и учёных людей, к которым его больше всего влечёт; но он находит возмещение и силу в том, что познаёт человека просто как человека и узнаёт его неоценимое достоинство.

[20] Кроме того, для успеха проповедника, по моему убеждению, необходимо, чтобы он всем сердцем любил свою работу. Я имею в виду сам процесс её выполнения, а не только её замысел. Человек, которому отвратительны

подробности его труда, не может постоянно трудиться хорошо, как бы ни был он исполнен духа этого дела. Он может одним отважным порывом справиться с ним, преодолев всё отвращение, но не сможет работать так год за годом, день за днём. Поэтому, если вы способны чувствовать простую радость от того, что вам приходится делать как служителю, — от жара письма, от воодушевления речи, от того, что стоите перед людьми и затрагиваете их души, от общения с молодыми, — считайте это не просто вполне законным удовольствием, а существенной частью вашей силы. Чем полнее ваша радость, тем лучше вы всё это сделаете.

21 Я почти колеблюсь, переходя к следующему началу силы проповедника. Почти сомневаюсь, какое название выбрать, чтобы передать то, что имею в виду. Пожалуй, лучшего названия, чем серьёзность, нет. Я разумею просто тот серьёзный и вдумчивый взгляд на жизнь, который никогда не отталкивает истинной безмятежности чистых и доверчивых сердец, но встречает явным сочувствием души людей угнетённых и обременённых, тревожных, полных вопросов, на время изгнавших с их лиц всякий смех. Мне, конечно, знакомо всё убожество напускной серьёзности. Думаю, она отвращает меня не меньше, чем любого другого. Обрушивавшиеся на неё нападки и насмешки вполне справедливы, хотя и несколько дёшевы. Серьёзность напущенная, лишь скрывающая торжественным видом отсутствие мысли и чувства; надеваемая как профессиональный мундир; состоящая в определённых внешних формах и возмущающаяся всякой серьёзной мыслью о жизни, которая по-настоящему глубже её самой, но случайно выражается в иных формах, объявленных ею легкомысленными, — такая серьёзность достойна всех

насмешек и презрения. Служители, умеющие только принимать торжественный вид, очень пусты и заслуживают всего презрения, которым их осыпали во все века. Они обманщики и подделки. Стоя со своими маленькими пуговками предрассудков вдоль безукоризненно прямых сюртуков, они более всего похожи на комод, который мистер Боб Сойер показывал мистеру Уинклю в своей маленькой приёмной: «Пустышки, дорогой мой, — сказал он поражённому и впечатлённому гостю, — в половине ящиков ничего нет, а другая половина не открывается». Я понимаю смысл нападок на таких людей. Я знаю, что есть люди, которые их заслуживают. Но не могу отделаться от мысли, что мы почти дошли до времени, когда все эти нападки обрели тот безопасный и бессильный характер, который свойствен всякой сатире на непопулярные слабости и уже отживающие злоупотребления. По крайней мере, есть ещё одно существо, которое должно разделить с церковным педантом презрение христиан. Я говорю о церковном шутнике во всех разновидностях его неприятного существования. Он появляется и на кафедре, и вне её. Он касается руками самого священного и оскверняет всё, к чему прикасается. Он полон библейских острот. О священных символах Церкви он говорит языком затёртых шуток, доставшихся от предшествовавших ему поколений немощных церковных остряков. Учения, которые, если вообще что-то значат, означают для душ жизнь или смерть, он превращает в материал для перебранки, перелетающей туда и обратно, словно традиционные насмешки на Темзе, между церковными лодочниками, снующими по ту или другую сторону реки богословия. Есть места Библии, навсегда запятнанные

прикосновениями рук служителей, любящих дешёвые и лёгкие шутки.

22 Думаю, из всего, что приходится видеть у служителей, ничто не возмущает сильнее. Это совершенно беспричинный порок. То, что в любом другом месте просто глупо, здесь становится страшным. Шутовство, которое лишь раздражает меня, когда я слышу его от землекопов, роющих канаву у моего порога, вызывает гнев и страх, если исходит из уст капитана, держащего штурвал, или хирурга, от чьего искусства зависит моя жизнь. Уверен, вы поймёте меня правильно. Серьёзность, о которой я говорю, вполне совместима с самым острым ощущением смешной стороны вещей. Она не просто совместима с юмором — она даже необходима для него. Юмор предполагает понимание истинных соотношений жизни. Это одно из самых полезных качеств, какими может обладать проповедник. Нет такого уродующего кафедру преувеличения, которое не смягчилось бы и не ослабло, а часто и вовсе не исчезло, будь у служителя настоящее чувство юмора. Оно тысячу раз смягчало горечь споров. Его невозможно поощрять чрезмерно. Невозможно слишком близко познакомиться с книгами всех времён, в которых живёт истинный юмор, ибо истинный юмор — цвет высшей жизни. Читайте Джордж Элиот, Теккерея и прежде всего Шекспира. Они помогут вам избегать крайностей, не впадая в пресность. Они сохранят вашу серьёзность, избавляя вас от напыщенной торжественности. Но юмор — нечто совсем иное, чем легкомыслие. Иногда спрашивают, правильно ли вызывать у людей смех в церкви словами с кафедры, — словно смех всегда одно и то же неизменное явление; словно нет улыбки, которая проносится по большой общине, как дыхание майского утра, делая её

плодородной для любого доброго семени, и нет другого смеха, подобного треску терновника под котлом. Улыбка, вызванная настоящим юмором, и улыбка от простого щекотания воображения столь же различны, как слёзы, которые скорбь исторгает из души, и слёзы, которые вы заставляете человека пролить, ущипнув его.

[23] И нет большего заблуждения, чем мысль, будто, став церковным юмористом, вы придаёте привлекательность своему делу и приобретаете влияние на людей. Это воздвигает стену между вами и ближними. Они реже захотят искать вас в своей духовной нужде. Думаю, многие из нас это чувствуют и испытывают некоторый страх, видя, как миряне ближе знакомятся с обществом духовенства. В целом это общество возвышенно и вдохновляюще; но в нём есть то, чего вам, вскоре вступающим в духовное звание, следует остерегаться. Храните святость своего призвания ясной и светлой даже в малом. Воздерживайтесь от всяких шуток об общинах, пастве, приходских посещениях, проповедях, злоключениях на кафедре и уловках в рабочем кабинете. Такие шутки всегда дурны и почти всегда глупы, но очень распространены и снимают свежий цвет с жизни молодого служителя. Именно поэтому, полагаю, многие люди избегают личного знакомства с проповедниками, которых слушают с уважением и благодарностью. Они боятся того, с чем так часто сталкиваются. Между тем жизнь служителя действительно может помогать всей его проповеди и подкреплять её. Качество, которое делает её такой, я и называю серьёзностью. Ей присуща тонкая способность различать. Она притягивает всё, чему может помочь, и отталкивает всё, что могло бы повредить ей или пострадать от неё. Она сердечно принимает искренних и простых, непреклонно не допускает наглых и

неискренних. Чистая серьёзность подобна петлям чудесных ворот древнего лабиринта: они так крепки, что никакой таран не может их сокрушить, но так тонко устроены, что лёгкое прикосновение ребёнка распахивает их и впускает его внутрь.

[24] Есть ещё один источник силы, который я едва могу считать отдельным качеством, — скорее суммой и итогом всех названных качеств. Я имею в виду мужество. Это непременное условие всякого истинного служения. Робкий служитель так же плох, как робкий хирург. Мужество хорошо всюду, но здесь необходимо. Если вы боитесь людей и рабски зависите от их мнения, ступайте заниматься чем-нибудь другим. Шейте им обувь по ноге. Даже пишите картины, которые сами считаете плохими, но которые отвечают их дурному вкусу. Только не продолжайте всю жизнь произносить проповеди, говорящие не то, что Бог послал вас возвестить, а то, за что они вам платят. Будьте мужественны. Будьте независимы. Только помните, откуда происходят настоящее мужество и независимость. Мужество в служении, думаю, принадлежит к числу тех качеств, которые нельзя приобрести здоровым путём, если стремиться прямо к ним самим. Оно должно приходить, как телесное здоровье, — в результате стремления к чему-то другому. Именно искреннее уважение к высшей природе людей должно дать вам смелость противиться их прихотям. Кто начинает с презрения к людям, часто кончает рабством у них. Пламенное желание приносить людям добро всегда надёжнее всего предохраняет нас от вреда с их стороны. Сам Иисус был смел перед людьми благодаря бесконечной любви к ним. Так Он владычествовал над ними со Своего креста и был их Господом, потому что служил им даже до смерти.

[25] Есть ещё одна тема, на которой я хотел остановиться в этой лекции, но о ней придётся сказать очень кратко. Мне хотелось вместе с вами оценить некоторые опасности, которые для собственного характера человека возникают из того, что он проповедник. Первая из них, несомненно, — самомнение. В некотором смысле всякий молодой служитель самонадеян. Вступая в служение, он полон самомнения. Во всяком случае, каждый начинает с преувеличенных ожиданий относительно того, к чему приведёт его служение. Со временем мы из этого выходим. Когда человек начинает проповедовать, первое его удивление — почему люди не приходят его слушать. Через некоторое время, если он чего-нибудь стоит, он начинает удивляться, почему они приходят. Он обнаруживает, что ветхий Адам слишком силён для молодого Меланхтона. В этом нет ничего странного. Это не ставит молодому служителю ничего в вину. Готовящийся к служению в значительной мере постиг силу, которой ему предстоит действовать, но ещё не измерил сопротивления, с которым столкнётся. Он знает силу истины, которой сам исполнен, но ещё не оценил греха, которым исполнен мир. Чем он серьёзнее, пламеннее, чем больше в нём любви к Богу и человеку, тем невозможнее кажется ему не совершить великих дел для своего Господина. И далее, по-моему, характер человеческого служения в очень большой мере зависит от того, каким путём человек выходит из этой первоначальной уверенности в себе и какое состояние наступает, когда она уходит.

[26] Первый способ, которым жизнь воздействует на эту самоуверенность и выводит человека из самомнения, — успех: нам дают увидеть, как предпринятое дело действительно совершается нашими руками. Лишь в

мелких людях и в низших делах успех умножает самомнение. Во всяком высоком труде и в людях, достойных его, успех неизменно рождает смирение. «Признание, — сказал однажды Готорн, — делает человека очень скромным». Знание, что вы действительно достигаете результатов, и подтверждение этого знания суждением ближних открывают вам глубинный смысл вашего труда, показывают, как он велик, заставляют стыдиться всех людских похвал, когда вы постепенно видите, насколько лучше могли бы выполнить своё дело. Думаю, среди самых благородных и богатых характеров служителей всех времён — те, кто был смирён людской похвалой и просвещён успехом.

27 Но есть и другой путь, которым люди выходят из первоначального самодовольства, — через совершенно противоположную дверь: через неудачу. Для по-настоящему работающего служителя и неудача, и успех лишь относительны. Помните: ни один истинный человек не достигает полного успеха и не терпит полного поражения. Однако главное различие между воздействием того, что мы называем успехом, и того, что называем неудачей в служении, таково: успех заставляет человека размышлять о том, как много может сделать проповедник, и благодарить за это; неудача — думать о том, как много есть того, чего не может сделать никакой проповедник, и склонна придавливать его унынием. Она ставит его перед величием задачи христианского служения как перед тяжёлой ношей, а не как перед великим притягательным вызовом. Он парализован, как Гамлет:

> 28 «Век вывихнут. О злая доля! Зачем родился я, чтоб вправить этот век!»

[29] Ужасно видеть такой конец первых высоких надежд юноши. Та самая сила, которая прежде укрепляла его, теперь ослабляет. Груз, служивший ему балластом и помогавший быстрее плыть, топит его, как только появилась течь. Помощь возможна лишь в более глубоком возвращении всего существа к Богу — в таком познании Его Самого и того, как Он дорог нам, которое снимет тяжесть нашей ответственности и сделает нас готовыми с радостью потерпеть неудачу ради Него, как и добиться ради Него успеха, если таков будет Его выбор; готовыми работать для Него при неудаче так же усердно, как при успехе, ибо мы трудимся не ради успеха, а ради Него. Возвращение человека к Богу через неудачу всегда представляет благородное зрелище, и ни одна область жизни не являет столь благородных его образцов, как христианское служение.

[30] Когда первое самомнение молодого проповедника поколеблено, есть и другое убежище: новое самомнение, более мелкое, чем прежнее. Осаждённый хозяин дома отказывается сдаться и отступает от крепких наружных укреплений, защищая рубеж за рубежом, пока наконец не остаётся жить лишь в самой убогой и никчёмной своей каморке. Человек убеждается, что не обратит мир. Твердыни князя зла явно не падут перед ним. Ему предстоит оставить недостроенное Царство Божие примерно таким, каким он застал его, вступая в служение. Но тогда он отступает к какой-нибудь мелкой гордости: «Моя церковь полна»; «Моё имя заметно в деятельности моего вероисповедания»; «Мои проповеди вызывают похвалы»; или просто: «Я служитель. У меня есть достоинство, которым эти миряне похвалиться не могут. Моё рукоположение отделяет меня для некой неопределимой, таинственной привилегии». Здесь начало

многих фантастических и преувеличенных теорий о служении. Мелкий проповедник возвеличивает своё звание совсем не по-павловски. И вы слышите, как человек, которого никто не желает слушать, цитирует торжественные Божьи слова о том, «будут ли они слушать или не будут», словно они были обращены к нему так же, как к Иезекиилю.

31 Что же скажем? Каков истинный выход из незрелости неопытного проповедника, сосредоточивающего все свои мысли на себе? Это выход, который многие проповедники нашли и постепенно освоили. Он заключается в растущем посвящении жизни Богу, во всё более полном поглощении своего существа поиском Божьей славы. По мере движения вперёд дело раскрывается. Оно превосходит все его силы. Но, озирая его возрастающую необъятность, он видит, как со всех сторон оно соприкасается с Божьим всемогуществом. Чем яснее он понимает, что никогда не совершит того, на что некогда надеялся, тем яснее ему одновременно становится: Бог совершит это в Своё время и Своим путём. Его собственное разочарование поглощается и тонет в обещании победы его Господа. Он становится истинным Иоанном Крестителем. Он счастлив высшей радостью и работает с энергией, какой прежде не знал. Вот истинное прибежище служителя, когда рушатся чары его первых мечтаний.

32 Другая опасность жизни духовного лица — потакание себе. Способы и приёмы работы служителя почти всецело находятся в его собственной власти. Ему невозможно свести свою жизнь к установленному распорядку. Есть лишь немногие проверки, которые он должен выдерживать в определённые сроки, как деловой человек должен оплачивать векселя при наступлении срока. К

тому же значительная часть его труда такова, что для наилучшего исполнения требует непосредственного внутреннего побуждения. Совместное действие всех этих причин порождает во многих служителях ощущение, будто их верность своему делу нельзя судить теми же мерками, что верность других людей их труду.

[33] Более того, думаю, само сознание, что человек трудится по более высокому побуждению, нередко ослабляет совестливость, с которой он подходит к каждой мельчайшей подробности своего дела. Во многих кабинетах самых убеждённых арминиан таится антиномизм. Мы склонны становиться людьми настроения, думающими, что не могут работать, пока им этого не хочется. В нашем деле ровно настолько присутствует художественное начало, чтобы мы переняли привычки художника и оставляли кисти в покое, когда небо хмурится или болит голова. Но художественное начало в истинной проповеди всё-таки самое малое. Её лучшие качества зависят от нравственных и духовных условий, которые могут всегда присутствовать в преданном служителе Бога. Поэтому первая задача проповедника — победить тиранию настроений и быть всегда готовым к своему труду. Это возможно. Тот, кто этому не научился, ещё не постиг тайны Иисуса, заключавшейся в столь полной любви к Отцу и человеку, между которыми Он стоял, что она стирала всякую мысль о Себе, кроме мысли о Себе как о посреднике, через которого Божественное нисходит к человеческому. Мы читаем об Иисусе, что Он не раз скорбел духом. Иногда, совершенно утомившись по окончании труда, Он удалялся на гору или отплывал в лодке на озеро. Мы чувствуем колебания Его человеческой природы и, истолковывая её через собственную, словно видим: в одно светлое утро у

моря Он был исполнен жизненной силы и радости, а в другое утро — печален и обременён. Мы можем проследить различия в характере проповеди этих двух дней. Но во всём этом нет ничего хотя бы отдалённо похожего на потакание Себе. Мы уверены: ни один день не оставался без проповеди из-за того, что Он встретил его в мрачном и подавленном настроении. В Назарете Он не совершил многих чудес, но причиной было неверие людей, а не Его собственное нежелание. Так может быть и у нас. То, что мы проповедуем истину в разном свете или разных тенях, смотря по тому, осветляет или омрачает Бог наш собственный опыт, составляет часть достоинства нашей человеческой природы и часть преимущества наших людей, имеющих служителями людей, а не машины. Но всякое настроение, делающее нас вовсе неспособными проповедовать или действительно ослабляющее волю к проповеди, дурно, и сквозь него можно прорваться. Вот тогда совести надлежит встрепенуться, а человеку — быть человеком.

[34] Как хотелось бы иметь возможность откровенно и свободно поговорить с мирянами наших церквей об их обращении с духовенством. Духовенство в большой мере таково, каким его делают миряне. И хотя можно без всякого сожаления смотреть на исчезновение благоговения, которым, по-видимому, было окружено звание проповедника во времена наших отцов, его более слабая замена, во многих случаях занявшая это место, должна вызывать серьёзные опасения. Было нехорошо, когда служителю поклонялись и делали его оракулом. Ещё хуже, когда ему льстят и превращают его в любимца, которого балуют. Среди наших более слабых людей ныне есть такая склонность. Я уже говорил о том, как многих людей вводят в служение, балуя их. Если такой человек

обладает дарами, нравящимися публике, его могут баловать на протяжении всего служения, и он ни разу не придёт в серьёзное столкновение с другими людьми, не получит ни одного доброго крепкого удара из тех, которые вырабатывают мужество и характер. Люди, теснее всего окружающие жизнь служителя, разделяющие его веру и принимающие его мерки, образуют своего рода подушку между ним и неверием и злом, которые бьют других людей в лицо и беспощадно ранят их на каждом шагу. Это не вполне противоестественно. Служитель занимает в обществе особое положение. В частных делах никакого другого человека — его здоровье, удобстве, избавлении от денежных тревог — не заинтересовано непосредственно столь много людей. Неудивительно, что этот интерес и эта забота о нём, которые должны лишь поставить его в условия, позволяющие без личного страха и без личной зависимости смело и независимо быть собой и высказывать собственную душу, часто извращаются в отраву для его мужества и искушение потакать себе. Это, несомненно, слабое место нашей американской системы добровольного содержания церквей, вводящей служителя в тесные личные отношения со своими людьми: в целом эти отношения хороши и здоровы, но имеют этот единственный недостаток и эту опасность.

[35] Если вы читали жизнеописание Фредерика Робертсона, то знаете, как ненавистны ему были многие обстоятельства жизни популярного служителя. Такими они должны быть для всякого подлинного человека. Если человек не до конца верен себе и истине, они находят его слабое место и закрепляются там. Он начинает ожидать иного обращения, чем прочие люди. Его личные огорчения и боли кажутся ему предметом общего

интереса. Сперва он становится внечеловечным, отделяясь от обычных мерок своего рода, а затем это делает его бесчеловечным, неспособным сочувствовать. Слабость всегда жестока.

[36] Мистер Гальтон в работе «Наследственный гений», подводя итог чтению жизнеописаний духовных лиц, утверждает: «Евангельские богословы весьма склонны проводить свои дни в духе мягкой жалобы и усталости». Эти слова прекрасно передают историю, известную всем нам, кто близко знал многих служителей. То призвание, которое должно было бы быть самым мужественным из всех, на деле склонно лишать людей мужества. Люди взывают к сочувствию так, как не следовало бы ни одному настоящему мужчине. Они усваивают себе трогательность святого Павла без силы святого Павла. Против этой склонности, друзья мои, направьте всю свою силу. Бойтесь её незаметного проникновения. «Я не чувствую никакого опьянения, — писал Маколей в первом пылу успеха, — но человек может быть пьян, не зная этого». Настойчиво применяйте к себе мерки, которые другие отказываются к вам применять.

[37] Отвергайте поблажки, которых не дают людям иных профессий. Учитесь радоваться и оставаться трезвыми; учитесь страдать и быть сильными. Никогда не выпрашивайте сочувствия. Пусть оно само найдёт вас, если пожелает. Считайте мужество душой своего служения и сопротивляйтесь всем посягательствам на него, сколь сладкими бы они ни казались.

[38] Я надеялся сегодня сказать несколько слов ещё об одной опасности жизни проповедника — об узости. Все мы живём внутри концентрических кругов. Они простираются один за другим, пока не достигают самого

внешнего круга — горизонта, где человеческое соприкасается с Божественным, как земля с небом. Я считаю, что всё это установлено Богом и предназначено для нашего высшего блага. Узость существует ради широты. Каждый меньший круг должен, по моему убеждению, вести взгляд к следующему, большему, а так в конце концов — к самому большому. Вы твёрдо стоите на своём маленьком клочке земли, и оттуда смотрите вдаль и обнаруживаете себя, подобно теннисоновскому орлу, «окружённым лазурным миром». Так каждый меньший круг вашей нравственной жизни предназначен выводить вас дальше и давать осознание кругов более широких. Вы можете стать лучшим служителем благодаря ясной принадлежности к конгрегационализму или епископальной церкви; а благодаря тому, что вы служитель, — лучшим человеком. Опасность в том, что меньший круг, вместо того чтобы увлекать взгляд дальше, ревниво замыкает его на себе. Узости избегают не тем, что оставляют своё особое назначение, а тем, что заставляют его открывать то, что лежит за его пределами. Вы не станете лучшим человеком, притворяясь, будто вы не христианин, и не станете лучшим христианином, притворяясь, будто не имеете догматической веры. Подлинная широта приходит, когда сила собственного убеждения делает вас терпимыми к другим верующим, а серьёзность вашего христианства учит братству даже с самыми нехристианскими людьми.

[39] На этом я должен остановиться. Я весьма свободно говорил об опасностях и препятствиях, которыми занятия проповедника окружают его характер. И всё же прошу не понимать меня неверно. Нет другого занятия, в котором было бы столь возможно, более того — столь легко жить благородной жизнью. Эти плевелы растут пышно лишь

потому, что почва богата. Рядом с ними пышно растёт и пшеница. Христианское служение — самое широкое поле для возрастания человеческой души, какое предлагает этот мир. В нём верный человек должен вечно продолжать узнавать всё больше. Его рост в познании неразрывно связан с ростом характера. Нигде более нравственное и интеллектуальное не связаны столь тесно и не теряют или приобретают вместе. Служитель должен расти. Его истинный рост — не обязательно перемена взглядов. Это перемена самого взгляда. Это не переворот, а продвижение вперёд. Это непрерывный подъём, постоянно открывающий всё более широкие виды. Он повторяет опыт учеников Христа: их Господь всё время делал их людьми более широкого духа, а затем давал им более широкую истину, которую их расширившаяся природа уже могла вместить. Ещё раз радуюсь за вас, что именно в этом служении вам предстоит провести жизнь.

Лекция 3. Проповедник в своём служении

[1] Когда я уже собирался приступить к написанию этой лекции, случай свёл меня на день или два с молодым человеком, занимавшимся служением всего несколько месяцев. Он переживал первый пыл и жар нового опыта, и, слушая его, я многое вспомнил о том духе, с каким сам начинал много лет назад. Этот дух не исчез, но первая свежесть многих впечатлений созрела, надеюсь, во что-то лучшее, хотя и более трезвое. Он вновь пробудил во мне радость тех новых и необычных отношений с ближними, которые возникают, когда молодой человек, до сих пор пользовавшийся служением других, обнаруживает, что положение изменилось и теперь другие ждут от него духовного воспитания. Здесь и серьёзная радость ответственности; и удивлённое узнавание чего-то, усвоенного в одной из школ книг или жизни и сочтённого бесполезным, что теперь встреченный человек принимает от нас так, словно только этого всегда и ждал. Здесь надежда, не боящаяся поражения; удовольствие от нового познания себя, когда другие начинают пробуждать в нас то, о чём мы сами не подозревали; радость доверия и ответного отклика. Здесь углубившаяся святость молитвы и общения с Богом, когда мы приходим к Нему не только за себя и за огромный, смутно представляемый мир, но за людей, которых уже полюбили и называем своими, зная, что они принадлежат Ему. Здесь открытие лучшей и более благочестивой природы в людях; интерес к бесчисленным новым подробностям и вдохновение самой благородной целью, ради которой может жить человек. Всё это вместе составляет счастье и надежду тех светлых

дней, когда сильный, здоровый и благочестивый юноша только вступает в служение Евангелия.

[2] Сегодня я хочу поговорить с вами о проповеднике в его труде; то, что мне предстоит сказать, естественно разделится на замечания о природе, методе и духе этого труда.

[3] Мне следует вернуться к сказанному в первой лекции об истинном характере проповеди. Проповедь — это передача истины через человека людям. Человеческое начало в ней существенно, а не просто случайно. В камне на самом деле не может заключаться проповедь, какие бы уроки он ни мог преподать. Если это так, мы должны провести значение человеческого начала до всех его следствий. Для проповеди недостаточно лишь наличия человеческого существа, говорящего другим человеческим существам: хорошей проповеди нужен человек, умеющий хорошо говорить, чья природа находится в верных отношениях с теми, к кому он обращается, кто через сочувствие приблизил свою жизнь к их жизни. Во всяком высшем деле у людей есть инстинктивная склонность уклоняться от ответственности и прятаться под защитой какого-либо представления о судьбе. И очень часто мы слышим, как служители пытаются избежать ответственности расплывчатыми и неразумными заявлениями: истина — это всё, и общине не должно быть никакого дела до того, как и от кого она её слышит. В основе подобных речей лежит скрытый фатализм, готовность исключить действие человеческой свободы воли и выбора из самых высоких дел. То самое основание, по которому проповедником вообще должен быть человек, требует человека настолько мудрого, сильного, хорошо подготовленного, искусного и

красноречивого, насколько возможно найти или воспитать. Обязанность стать для людей человеком, которого они готовы принять, и всеми достойными способами завоёвывать их доверие к вам и к возвещаемой вами истине уже заключена в самом факте вашего проповеднического призвания. А достоинство цели сообщает достоинство многим подробностям, которые сами по себе незначительны. Изучение языка и ораторского искусства, которое сузило бы вас, будь оно предпринято лишь ради собственного развития, становится благородным, когда вы занимаетесь им, чтобы ваш язык был более достойным служителем Божьей истины. И неослабное внимание к людям, их вкусам, привычкам и образу мысли, которое было бы рабством, не имей оно иной цели, кроме их удовольствия или вашей репутации, становится высоким занятием, если его цель — понять, с какой стороны лучше всего поднести истину каждому человеку. Вот стоит человек, а двое других наблюдают за ним. Оба изучают его характер, оба хотят знать, о чём он думает, каковы его вкусы, как он проводит время. Один старается понять, как лучше получить от него доллар или голос на выборах. Другой пытается увидеть верный путь проповеди Евангелия этому ближнему. Перед нами самое низкое и самое благородное из отношений, в которые человек может вступать с ближним. Первое неописуемо постыдно. Оно слишком низко для любого человека. Настоящий человек предпочтёт умереть с голоду, чем принять его. Но во второе должен вступить всякий, кто намерен действительно проповедовать своему брату. Это лишь стремление достигнуть в меру наших слабых сил того знания человечества, каким обладал Тот, Кто «знал, что в

человеке», и потому «говорил так, как никто из людей не говорил».

[4] Отсюда следует, что труд проповедника и труд пастыря в действительности принадлежат друг другу и не должны разделяться. В этом я убеждён очень твёрдо. Время от времени кто-нибудь выступает со знакомым и внешне убедительным предложением. Он говорит: насколько лучше было бы распределить служителей и обязанности! Пусть одни служители будут только проповедниками, а другие — только пастырями. Пусть одни посещают паству, наставляют и утешают её, а другие стоят на кафедре. Вы недалеко продвинетесь в служении, прежде чем испытаете искушение повторить это желание. Обе стороны труда проповедника постоянно соперничают. Когда вы обнаруживаете, что не можете сесть за учёбу и письмо без того, чтобы с бумаги не смотрели на вас лица людей, нуждающихся, как вы знаете, в вашей заботе; и в то же время не можете выйти к своим людям, не слыша, как оставленный кабинет укоряет вас и зовёт домой, — легко поверить: как хорошо было бы стать кем-то одним, а не обоими сразу, либо проповедником, либо пастырем. Но уверяю вас: вы ошибаетесь. Эти два дела — не два, а одно. Иногда встречаются проповедники со столь глубоким, напряжённым проникновением в общечеловеческую природу, что они могут говорить людям, не зная тех, к кому обращаются. Такие проповедники очень редки; а остальные, не обладающие их силой и пытающиеся делать то же самое, наверняка начнут проповедовать вымышленному, нереальному человеку, чуждому действительной человеческой природе. Иногда встречаются пастыри, постоянно сохраняющие столь высокий и духовный взгляд на малые вещи, что могут год за годом ходить по домам, иметь дело с мужчинами и

женщинами среди их обыденных занятий, поднимать их к себе и никогда не опускаться на уровень тех, кого наставляют. Такие пастыри редки; остальные, пытающиеся это делать и никогда не рассматривающие истину в её более широких сторонах посредством более упорядоченной речи с кафедры, непременно становятся либо легкомысленными сплетниками, либо утомительными машинами. Проповеднику необходимо быть пастырем, чтобы проповедовать действительным людям. Пастырь должен быть проповедником, чтобы сохранять живое достоинство своего труда. Проповедник, не являющийся пастырем, отдаляется от людей. Пастырь, не являющийся проповедником, мельчает. Никогда не довольствуйтесь тем, чтобы о вас могли справедливо сказать: «Он проповедник, но не пастырь» — или: «Он пастырь, но не проповедник». Будьте обоими, ибо вы не можете по-настоящему быть одним, не будучи также другим.

5 О пастырском служении, рассматриваемом самом по себе, по-моему, можно сказать очень немного. Я невысоко ценю всякие своды правил и прямые наставления на эту тему. Книги, обучающие пастырским обязанностям иначе, чем посредством самых общих указаний, почти бесполезны. Им присущ недостаток всех книг о поведении: тем, кто ведёт себя хорошо, они не нужны, а тем, кто плохо, не помогают. Силы пастырского успеха — истина и сочувствие вместе. «Говорить истину в любви» — вот золотой текст, который стоит вписать в книгу с именами ваших людей, чтобы перечитывать его каждый раз перед посещением. Сочувствие без истины делает пастыря приятным, но его влияние на приход скоро слабеет. Люди чувствуют его мягкое и нежное прикосновение, но никогда — твёрдое и сильное. Истина

без сочувствия создаёт пастыря, которого, по словам людей, они уважают, но к которому редко обращаются и которого редко желают видеть у себя. Однако там, где оба начала соединяются, и в той мере, в какой они соединяются в вас, ничто, думаю, не удивит вас больше, чем открытие надёжности их действия. Человек, обладающий ими, не может не сказать нужного слова в нужное время. Вы идёте к бедному, сокрушённому и разбитому сердцу; говорите ту истину, которую знаете: об извечно готовом и неисчерпаемом прощении, о неизреченной любви, о непрерывной жизни бессмертия; и позволяете скорби о чужой скорби, которую действительно чувствуете, выразиться какими угодно истинными и простыми способами. Затем уходите с болью в сердце, думая, что так жалко не справились. Но со временем обнаруживаете, что не потерпели неудачи, что действительно принесли возвышение духа и утешение. Иначе и быть не может, если вы приходите с истиной и сочувствием. Таков постоянный опыт служителя. Таково основание уверенности и надежды, с которыми он идёт вперёд год за годом. Как я уже дал понять, я склонен думать, что беда значительной части нашей пастырской работы — её мелкость. Она ведётся в слишком низкой тональности. Она пытается отвечать на жизненные несчастья утешением, а не вдохновением, предлагая побуждения к терпению и мысли о возмещении в этой жизни или в будущей, вместо того чтобы сообщать более высокий и сильный настрой. Именно такой настрой позволил бы людям презирать свои скорби и легко нести их в поиске истины и благородства, в поиске освобождения, которое приходит через забвение себя и преданность нуждам других. Самая подлинная помощь человеку, несущему одно из неизбежных жизненных

бремён, — не снять с него ношу, а пробудить его лучшую силу, чтобы он мог её нести. Пастырство Иисуса повсюду отличается прямотой и мужеством. Никодима Он встречает ошеломляющим утверждением высших нужд духа. Человека, желающего раздела наследства, — суровым обличением его самонадеянного себялюбия. Симону Петру уверение в прощении предлагается в форме требования трудиться. Все три примера и многие другие открывают богатые возможности сопоставить их с тем, как поступили бы в тех же обстоятельствах многие служители Христа. Именно полное отсутствие сентиментальности в отношениях Христа с людьми делает Его нежность столь глубоко трогательной. Нашему современному пастырству обычно недостаёт силы и даже стремления пробуждать более крепкую сторону человеческой природы. Оно служит больше женщинам, чем мужчинам. Оно больше старается успокоить утешением, чем воспламенить стремлением к великому или уязвить стыдом.

[6] Пожалуй, именно здесь уместнее всего сказать, что отсутствием героического начала наше нынешнее христианство больше всего уступает христианству евангельских времён. Мы ещё сохраняем героический язык, но не порождает ли он часто странных несоответствий? Разве образы некоторых гимнов не казались порой удивительно неуместными на устах тех, кто их пел? Например, ряд благополучных, довольных собой, консервативных джентльменов и дам встаёт и поёт: «Вперёд, христианские воины, выступайте, как на войну» — или: «Держите крепость: Я иду! — Иисус всё подаёт знак». Это лишь сильнее напоминает нам, сколь невоинственна и негероична их жизнь. Дело не просто в различии одежды. Не сомневаюсь, что христиане в

катакомбах или шахтёры, слушавшие Уайтфилда, когда он проповедовал в Бристоле, могли бы петь гимны, построенные на тех же образах, и никакого несоответствия не возникло бы. И всё же они так же очевидно были мирными людьми, как наши общины. Но они сознавали и являли истинную напряжённость духовной брани. Они знали внутренний бой, страшную действительность врага, страшную неизвестность исхода борьбы, славную радость победы. Нет, дело в негероическом характере современной жизни, особенно современного христианства. Жизнь Иисуса Христа была коренной: она проникала к самым глубоким корням вещей. Она требовала от людей самого благородного и свободного действия. Если мы Его служители, то должны внести героическое в негероическую жизнь людей, требуя от них истины, широты, храбрости, самопожертвования, свободы от условностей и подъёма к высоким меркам мысли и жизни. Мы должны поднимать человеческую жизнь к Нему, а не низводить Его до человеческой жизни. Таковы честь и долг христианского пастыря.

[7] Мне кажется, значительная часть трудностей и ошибок нашей пастырской жизни происходит от слишком высокой оценки нынешнего состояния людей и слишком низкой оценки их возможностей. Если это верно, то для того, чтобы стать лучшими пастырями, нам нужно полнее усвоить Евангелие, которое одновременно открывает несовершенное состояние человека и его бесконечную надежду. Иисус был совершенным пастырем в том, как показывал людям, кто они есть и кем могут стать. Он никогда не обманывал их и никогда не лишал надежды. Соприкосновение с Его совершенной человечностью одновременно приносило им стыд и надежду. И когда Он

приближается к нам теперь, когда Его Дух совершает назначенное Ему дело — берёт от Него и показывает нам, — та же сила, соединяющая стыд и надежду, входит в нашу жизнь. Пусть это будет образцом нашего пастырства.

[8] Но вернёмся определённее к проповеди. Думаю, одно из предварительных соображений о ней — одна её черта, столь заметная, что мы уверены: Пославший людей проповедовать должен был её предусмотреть, — это уже упомянутая мною радость, свойственная проповеди, то, как глубоко она увлекает лучшие стороны человека, занятого ею. Возвращаясь к этому, я помню, сколько уже сказал и сколько, возможно, ещё скажу; но этот предмет занимает меня. Мне кажется прискорбным, сколь часто служители рассуждают о своём труде так, будто он полон одних тягот и разочарований. Каждая человеческая способность, имеющая естественную и законную цель, приносит две радости: одну — в предвкушении и достижении цели, другую — в самом своём действии. Радость есть и в упражнении сил, и в выполнении работы; в лучших видах человеческой деятельности обе идут вместе. Всё это верно и для проповеди. Её высшая радость — в великом стремлении, поставленном перед ней: прославить Господа и спасти человеческие души. Никакая другая земная радость с этим не сравнится. Служение, которое её не чувствует, мертво. Но за этой высшей радостью, смиренно звуча с ней в унисон, как здоровое тело трепещет в согласии с глубокими мыслями и чистыми желаниями ума и души, лучшие служители всегда ощущали другую радость, принадлежащую самому процессу труда. Читая жизнеописания самых плодотворных проповедников прошлого или встречая сильных проповедников Слова сегодня, мы чувствуем, как

несомненно и глубоко радует их само осуществление служения. Лучшие проповеди словно всегда хранят память о том взволнованном порыве или тихом счастье, с которыми были написаны или произнесены. Солдат радуется и битве, и победе. Плотник радуется пиле и рубанку, а не только виду завершённого дома. Когда Уилберфорс узнал о первом предложении Маколею вступить в общественную жизнь, он на мгновение умолк, затем лицо его озарилось, он поднёс ладонь к уху и воскликнул: «Ах, я вновь слышу эти возгласы! Слушайте! Слушайте! Что это была за жизнь!» Для проповедника эта вторая радость, если можно так её назвать, состоит в наслаждении тесной связью с ближними и в ораторской радости воздействия на людей. Человек чрезмерно разборчивый или холодный теряет значительную часть побуждающей силы и неувядающей свежести служения. Иногда эта радость становится очень острой. Я всегда помню один особенный день много лет назад: свет угасал в комнате, где я проповедовал, лица сливались в единое целое, словно в лицо одного человека, внушительного и умоляющего, и я чувствовал, как люди слушают, хотя почти перестал их видеть. Я помню этот случайный день как один из тех, когда сознание чести общаться с людьми как их проповедник охватило меня почти неодолимо. Хорошо беречь всякую такую радость от самого труда проповеди. Она перебрасывает мост через времена, когда высшее воодушевление слабеет, и сообщает ему более глубокую радость, когда оно сильнее всего.

[9] Изучая проповедь Иисуса, мы, думаю, едва ли чем-нибудь восхищаемся больше, чем тем, как Он был одновременно Вождём и Братом людей, которых учил. Он всегда говорил как имеющий власть; но Его сила всегда приближалась к людям благодаря тому, как всецело Он

становился одним из них, с какой явной действительностью нёс их грехи и брал на Себя их печали. Поэтому насколько Сын Божий превосходил людей Своей природой, настолько же ближе Он подходил к ним Своим сочувствием и был более истинным Сыном Человеческим, чем любой из удивительно человечных пророков Ветхого Завета — Исаия, Иеремия или Иезекииль, к которым постоянно прилагается то же имя. Сравнивая теперь жизнь обычного проповедника с жизнью Иисуса, мы, полагаю, видим, насколько охотнее он сохраняет положение вождя, чем положение брата народа. Во всяком случае, во многом из нашей проповеди нам недостаёт того прекрасного соединения обоих начал, силу которого мы узнаём в слове и деле Иисуса. Мы — вожди народа. Горе нашей проповеди, если из слабого, ложного смирения мы отказываемся от этого места. Люди проходят мимо нас и жалеют нас, видя, как мы стоим на кафедрах и говорим: «Мы ничего особенного не знаем о том, о чём проповедуем; у нас нет власти; только приходите, и мы расскажем, что думаем, а вы расскажете нам, что думаете вы, и, быть может, вместе нам удастся высечь немного света». Это не проповедь. Такие речи с кафедры бывали, и люди всегда проходили мимо, спеша найти кого-нибудь, кто хотя бы притязал на возвещение Божьей воли. Нет, проповедник должен быть вождём, но его руководство должно быть неразрывно связано с братством. Именно как Человек Христос вёл людей к Богу. Именно как люди мы должны продолжать Христово дело и помогать человеческим душам идти к Нему. Эта истина, по-моему, лежит в основании всех лучших успехов, а забвение её — в основании всех худших неудач служения. Ни у проповедника, ни у пастыря нет настоящего руководства людьми, кроме того, которое

приходит так же, как пришло руководство Воплощения: через полное вхождение в участь тех, кого намереваешься вести.

[10] Кроме того, границы руководства проповедника весьма ясны, и молодому служителю необходимо их знать. Иногда проповедник оказывается — а ещё чаще неразумные друзья заставляют его вообразить себя — одним из самых мудрых, а возможно, самым мудрым человеком в своём маленьком кругу в обычных предметах размышления: искусстве, политике, литературе или образовании. Ему хорошо пользоваться своей мудростью, как и всякому другому человеку. Ему дурно оставлять её без применения, как и всякому другому. Делясь знанием, он может принести людям много добра и косвенно помочь своей особой миссии. Одна из самых интересных известных мне страниц жизни духовенства — рассказ Нормана Маклеода о его лекциях по геологии для ткачей в Ньюмилнсе. Хотелось бы, чтобы большее число нас могло последовать его примеру. Всё это хорошо, но мы должны знать: в нашем качестве проповедников нет ничего, что давало бы право притязать на авторитетное руководство людьми в любой из этих областей — ни в политике, ни в образовании, ни в науке. Лишь об одном мы можем говорить с властью: о воле Божьей. Даже в подробностях религиозной мысли нам не нужно стремиться быть их руководителями. Я не хочу — и совершенно ясно знаю, что, даже если бы захотел, никогда не смог бы, — чтобы слушающие меня принимали каждый высказанный мною взгляд на христианскую истину. У меня нет основания считать свои слова облечёнными непогрешимостью. Во многом из проповедуемого человек довольствуется тем, чтобы слушатели уносили домой сказанное как слово того, кто

размышлял о своём предмете и желает, чтобы они сами думали и судили. Конечно, он возвещает своё мнение о способе совершения искупления не с той же властью, с какой призывает покаяться в грехе и предупреждает, что без святости никто не увидит Господа. Всякий истинный проповедник проводит такую границу и открыто показывает людям, где она проходит. Если вы попытаетесь требовать авторитета для всех своих рассуждений, то кончите тем, что утратите его для самых несомненных и торжественных возвещений Божьей воли.

[11] Одна из трудностей проповеднического звания — подверженность легковесным пересудам при одновременной свободе от строгой и здоровой критики. Всегда найдётся достаточно людей, чтобы обнаружить маленькие недостатки служителя и дать ему о них услышать; но удивительно, как он может продолжать год за годом, ни разу не предстать перед судом здравого разума и не узнать подлинной цены своих слов и дел. Хватает людей, исполняющих для него службу того человека, которого Филипп Македонский держал при себе, чтобы каждый день перед приёмом посетителей тот говорил: «Филипп, помни, что ты смертен». Однако служитель почти никогда не встречается с таким здравым и безотлагательным разбором своей профессиональной работы, какой писатель получает от читателей, а адвокат — от судьи. Для многих это создаёт наихудшие условия труда: постоянное раздражение мелкими придирками без широкой оценки целого. Это похоже на стояние под беспорядочным одиночным обстрелом без позволения броситься в бой и разом решить вопрос жизни или смерти. Поэтому служителю совершенно необходима независимость от людских суждений, которая приходит лишь через самую полную зависимость от суда Господа,

через жизнь «всегда под взором великого Владыки труда».

12 Мне хотелось бы сказать ещё об одной опасности, которой труд подвергает проповедника: о параличе великими идеями. Бывают времена, когда необъятные мысли о Боге побуждают нас действовать. Бывают другие времена, когда они словно отнимают всякую способность к действию. У некоторых такие времена повторяются всё чаще, пока не возникает порода церковных мечтателей, думающих огромные, туманные, неопределённые мысли и ничего не делающих. Это опасность для всякого пламенного ума. Если человек замечает в себе такую склонность, единственное спасение — беспощадное правило: никакая мысль, сколь бы отвлечённой она ни была, не считается удовлетворительно воспринятой и усвоенной, пока не откроет нам своей практической стороны и чем-нибудь не поможет в труде. Дух практичности — это посвящение всего человека, даже самых идеальных и мечтательных его сторон, делу жизни.

13 Что касается второго названного мною пункта — методов труда проповедника, — нас окружают две трудности: отсутствие метода и склонность к ошибочным методам. Позвольте сказать несколько слов о каждой.

14 Некоторая стихийность, некоторое неприятие правил и системы присущи основному представлению о проповедническом труде у очень многих служителей. При верном изучении и взвешивании учение Христа и всего Нового Завета, несомненно, указывает в одну сторону. Всё оно заключает простую истину: трудящийся для Бога должен трудиться лучшими своими силами. А поскольку среди действенных сил человека способность планировать и устраивать занимает очень высокое место, весь Новый

Завет в действительности подразумевает, что проповедующий должен продумывать способы и пути проповеди, как купец или воин продумывает кампанию на рынке или поле боя. Вместе с тем в Новом Завете есть немало мест, словно содержащих обещание непосредственного вдохновения. Христос велит ученикам: «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой все ваши противники не смогут ни противоречить, ни противостоять». Эти и подобные слова действительно были сказаны определённым ученикам и ввиду особых чрезвычайных обстоятельств их жизни. Но при наших смутных, ненаучных представлениях о вдохновении их легко присваивает себе не одно бедное, вовсе не вдохновенное существо, над которым совершили рукоположение; и общее представление о благочестивости импровизации распространилось шире и охватило больше вдумчивых и умных людей, чем мы полагаем. Думаю также, что протестантское восстание против мелочной и чрезмерной организации Римской церкви во многом способствовало недоверию к упорядоченности, столь распространённому среди проповедников. Как бы оно ни возникло, сам факт достаточно ясен. Посмотрите, как учит кафедра. Осмелюсь сказать: ни в одной иной области преподавания нет ничего столь неразумного. Вы служитель и должны наставлять этих людей в истинах Божьих, нести им Божью весть. Перед вами открыто всё необъятное поле Божьего откровения и человеческого долга. Как же вы действуете? Если вы подобны большинству служителей, в вашем учении нет ни порядка, ни продвижения, ни последовательной цели. Вы никогда не начинаете с начала и не идёте шаг за шагом к завершению

упорядоченного курса наставления. Вы парите над всем морем истины и ныряете то здесь, то там, словно чайка, к любой теме, которая отвечает вашему настроению или которую случайное и поверхностное общение с людьми заставило счесть необходимой для удовлетворения общей нужды. Никакое другое обучение никогда так не велось. Ни один слушатель, направляясь в вашу церковь, не имеет ни малейшего представления, о чём вы будете проповедовать сегодня. Пытаться подготовиться к вашему наставлению для него безнадёжно. Уверен, я вправе сказать — полагаю, отчасти именно поэтому меня, епископала, пригласили читать здесь лекции, — что рад видеть, как во многих церквях вне нашей всё шире распространяется то, чему мы столь многим обязаны в упорядоченности проповеди: соблюдение церковного года с его памятными праздниками. Это по-прежнему оставляет величайшую свободу. Здесь нет уз, стесняющих человека. Но великое шествие года, освящённое для лучших человеческих побуждений накопленным благоговением веков, — Адвент, Рождество, Богоявление, Страстная пятница, Пасха, Вознесение, Пятидесятница, — проводит идущих в нём хотя бы раз в год мимо всех великих христианских событий и, каким бы небрежным и себялюбивым ни был проповедник, не позволяет ему скрыть их от своих людей. Церковный год сохраняет и личностный характер нашей религии. Он конкретен и образен. Исторический Иисус всегда присутствует в нём. Он непрестанно полагает каждую жизнь рядом с совершенной жизнью, чтобы она одновременно увидела своё несовершенство и свою надежду.

15 Но не будем больше останавливаться на этом частном примере — порядке и последовательности проповеди. Такое же отсутствие метода склонно проявляться всюду в

жизни проповедника. Помимо уже названных причин, оно происходит от слабого чувства ответственности. Умственная и нравственная природа связаны теснее, чем мы нередко допускаем, и черты, которые мы считаем всецело интеллектуальными, постоянно обнаруживают свои нравственные основания. Например, мы говорим о ясности, словно это только качество стиля; но ясность всякой речи, обращённой к людям, происходит из сочувствия — качества нравственного. Точно так же сила предполагает убеждённость. И так же подлинная методичность заключает в себе добросовестность. Умственное и духовное принадлежат друг другу. Логическое расположение мысли действительно связано с искренним желанием поступать правильно. Чем решительнее вы намерены делать всё должное, тем яснее выстроятся все процессы вашего мышления; затем, по закону обратного действия, упорядоченное мышление облегчит вам правильный поступок. То, что должны помнить все люди, служителю более всех подобает не забывать: насколько тесно умственная и нравственная природа связаны в их характерах и судьбах.

16 На этом высоком основании, а также на основании, возможно, более низком, но всё же здравом, я убеждаю вас в необходимости метода и порядка в жизни и труде. Не поддавайтесь обаянию непосредственности. Не позволяйте иллюзии вдохновения ввести вас в заблуждение. Более низкое основание — та поддержка, которую хорошо обдуманные и установившиеся способы действия дают высшим силам в минуты их слабости. Никто не боится механической деревянности в служении больше меня. И всё же прочный деревянный каркас, проходящий через ваш труд, — совокупность хорошо выстроенных и соединённых привычек относительно

времени и способов работы, письма, учёбы, общения с людьми, устройства благотворительности и образования, а также соотношения разных сторон церковного труда — снова и снова становится мостом, по которому служитель проходит там, где твёрдая почва высшего побуждения временно уходит из-под ног. Распорядок — страшный господин, но слуга, без которого нам едва ли обойтись. Распорядок как закон губителен. Распорядок как опора при временном истощении внутреннего порыва и новых мыслей часто становится нашим спасением. Кольридж рассказал об этом в стихах: «Придёт усталый день, когда, перенапрягшись, надежда и любовь под тяжестью уступят. Тогда с улыбкой статуи, с её же крепкой силой терпение, не медля и не ропща, за обеих труд исполнит».

17 Но терпение, будучи сильной способностью, не отличается быстрым взглядом и действует путями и привычками, сложившимися прежде.

18 Что касается ошибочных методов, в отличие от отсутствия метода в служении, опыт, по-видимому, показал мне одну широкую категорию, к которой можно отнести удивительно большую их часть. Это страсть к отдельным приёмам. Я не знаю ни одной области человеческой деятельности — от управления великим народом до врачевания маленького тела, — в которой не проявлялась бы постоянно склонность изобрести внезапный способ или отыскать волшебное краткое предписание, избавляющее от необходимости тщательного, всестороннего изучения и длительного применения сил. Но нигде, думаю, эта склонность не сильна так, как в служении. Нести человеку истину, Христа-Истину, всего Христа всему человеку — невозможно представить дело более широкое по своему

замыслу. Очевидно, и его способы должны быть столь же многообразны, как природы людей, с которыми оно имеет дело. Однако мы постоянно встречаем тех, кто словно свёл все нужды Церкви, все требования к успешному служителю к одному приёму, одной панацее: стоило бы только её применить, и она преодолела бы все препятствия и сразу привела бы совершенный день проповеди. Эти приёмы сами по себе хороши и, несомненно, составляют весьма полезную часть великого целого. Но когда их возвеличивают до исключительной значимости и предлагают как решение всех трудностей, окружающих Евангелие, они до смешного недостаточны. Немало молодых служителей сегодня ставят всё своё служение на одну такую идею. Всякий недостаток они объясняют тем, что их община недостаточно её усвоила. Всего доброго они ожидают от полного её осуществления. Без неё не ждут никакого добра. Они едва могут представить какое-нибудь зло, связанное с нею.

[19] Возможно, его любимая идея — церкви с бесплатными местами. Это действительно хорошая идея, без которой христианская церковь вообще не могла бы возникнуть; идея, которая, несомненно, представляет христианскую норму и к которой христианская практика однажды должна вернуться. Но она далеко не единственная идея богослужения и указывает далеко не на единственную или главную трудность распространения Евангелия. Вы могли бы сломать все дверцы церковных скамей и отменить всякую плату за места — и всё же напрасно ждать, пока церкви и Царство Божие сами наполнятся. Другого всецело поглощает общинное пение. Слушая, как он носится туда и сюда, громко восхваляя любимый способ и нанося страшные удары ненавистному ему четырёхголовому Церберу, вы почти готовы поверить:

стоило бы всем людям поднять голоса и запеть, и стены нечестия рассыплются в прах. Это хорошее и здоровое движение. Хорошо, если мы прорвёмся сквозь тиранию старых способов и действительно будем петь хвалу Господу. Но изгнать грех и приобрести праведность одним этим не удастся. Когда войско идёт в битву, оркестры должны играть, но они не ведут войско. То же относится к увлечению межконфессиональным общением, христианским единением. Это хорошо, и мне хотелось бы, чтобы его было больше. Но, вновь воспользовавшись военным сравнением, скажу: любезности между двумя полками ещё никогда не побеждали неприятельскую армию. Так же обстоит дело с церковным дружеским собранием, пытающимся привлечь прохожего к алтарю Господню знакомым, но слабым ароматом чашки чая. И так же — с детской церковью: одним из лучших и чистейших изобретений Церкви для своего дела, но никак не достаточным, чтобы делать его особой отличительной чертой какой-либо общины. Почти всегда это ослабляет проповедника в проповеди взрослым. Нет такой ничтожной вещи, которую какой-нибудь мелкий служитель не превратил бы в христианскую панацею. Один молодой пастырь как-то сказал мне: «В чём бы ещё я ни потерпел неудачу, есть одна область, где моё служение будет успешным». «Какая же?» — спросил я, ожидая чего-нибудь прекрасного и духовного. «В печатном деле», — ответил он. Он посвятил себя выпуску замысловатых объявлений, порядков богослужения, наградных карточек воскресной школы и чрезвычайно сложных приходских записей; полагаю, его приход по сей день густо усыпан этими обильно падающими листами. Нет! Любимая приходская или пасторская затея — либо фантазия человека, не понявшего великого дела

Евангелия, либо убежище человека, не сумевшего его исполнить. Зол от неё бесконечно много. Она создаёт причудливое христианство. Она заставляет нас бить в одну точку длинной твердыни греха и позволяет врагу спокойно сосредоточить там все силы для защиты. Она лишает нас способности к широкому обращению и ограничивает проповедуемую истину небольшим разрядом людей.

20 Она заставляет возвышать средство над целью, пока мы не начинаем ценить средство независимо от того, достигает ли оно цели. Такой смертью умерла жизнь многих приходов. Как сказал Джордж Герберт: «Какое убожество вместит того, чей дом грязен, пока он поклоняется своей метле?»

21 Наконец, и это хуже всего, страсть к отдельным приёмам и панацеям сужает наши мерки христианской жизни и даёт ложные признаки, по которым мы судим, кто христианин. Можно дойти до мысли, будто на арендованной скамье не бывает обращения и будто Бог не услышит хора, сколь бы благоговейно тот ни возносил к Нему хвалу народа. Остерегайтесь любимых затей. Прикрепите себя к центру своего служения, а не к какой-то точке на его окружности. Когда движется центр, должна двигаться и окружность. Выход из рабства отдельных приёмов состоит не в том, чтобы всякий раз находить очередной недостаточным и заменять его другим. Выход из деспотизма никогда не заключается в простой перемене деспотов. Всё служение некоторых людей из года в год занято заменой одной любимой затеи другой. Их история — летопись династий сменяющих друг друга приёмов, следующих один за другим, как поздние императоры: каждый убивает предшественника и в свой

черёд бывает убит. Выход должен прийти через более широкую человеческую жизнь служителя. Он должен глубже и шире узнать людей и стать в самом истинном и лучшем смысле знатоком жизни. Он должен выйти за пределы сугубо церковного духа, то есть перестать мыслить Церковь как мелкое учреждение, которое ведут особыми причудливыми способами. Он должен видеть в ней то, что она есть: образ и образец того, каким должно быть человечество. Её следует сохранять достаточно широкой, чтобы любой человек, возвращаясь из любого изгнания, где в сердце его пробудилась тоска по дому, мог найти ожидающее его истинное, родное место. Тогда проповедник будет знать людей всякого рода, сохраняя свою жизнь достаточно широкой для сочувствия им. Позвольте одно особое замечание на эту тему. Помимо попутной пользы для стиля и манеры, служителю, по-моему, полезно делать что-то кроме церковной работы и писать что-то кроме проповедей. Но делать это он должен как служитель. И доказательство широты его призвания состоит в том, что он может делать всё это и во всём оставаться служителем. Он может писать книги и всё же быть не литератором, а служителем. Может помогать государственному управлению и всё же быть не политиком, а служителем. Есть дурные, но есть и хорошие способы для духовного лица повсюду нести с собой свой духовный характер. Слова незнакомых людей о вас: «Я бы сразу понял, что он служитель», — могут быть вам и в укор, и в честь. Ведь лучший служитель — просто наиболее полный человек. Его нельзя отделить от его человечности. Вольтер сказал о Людовике XIV: «Он не был одним из величайших людей, но, несомненно, был одним из величайших королей, когда-либо живших». Ни об одном служителе так сказать нельзя. Тот, кто был

одним из величайших служителей, должен быть одним из величайших людей.

22 Недостатки в методе служителя обычно самого простого рода; как и его достоинства — не какие-то замысловатые и сложные, а первичные человеческие добродетели. Поэтому я не могу пройти мимо того, что, как мне в конце концов представляется, лежит в основании очень значительной части виденных мною неудач и половинчатых успехов духовенства. То, что называют «успехом» в служении, — поистине странное явление, весьма трудное для анализа. Наполовину глина, наполовину золото; наполовину светское, наполовину религиозное, и обе половины перемешаны так, что разделить их невозможно. В наших общинах слишком много религиозного чувства, чтобы назвать служителя успешным, если не видно, что он совершает действительно духовное дело; с другой стороны, хозяйственные соображения учитываются слишком неотступно, чтобы наградить похвалой успеха одну духовную преданность, если она не сопровождается признаками материального благополучия. «Успешный служитель» — существо со столь смешанными качествами, что остаётся достаточно места многим людям, которых успешными не называют, быть совершенно добрыми, благородно полезными и очень счастливыми. Но у этой мерки успеха всё же есть преимущества. Она понятна. И она сразу выдвигает самую простую из всех причин неудачи и показывает, что это та же причина, которая приносит неудачу во всякой области жизни. Причина эта — обыкновенная недобросовестность: люди не делают всего, на что способны с данными Богом силами. Думаю, трудно поверить, насколько часто эта беда, лежащая под всеми

бедами, встречается в жизни служителя. Я хочу обратить на неё ваше самое серьёзное внимание. Вы наблюдаете путь человека, который, по-видимому, не достигает успеха. Вы знаете его благочестие, признаёте его ум, строите всевозможные сложные теории о том, что в его особенном характере мешает плодотворности, останавливаетесь на его взыскательности, замкнутости, удивительной чувствительности. Вы представляете, как он пишет изысканные, полные мысли проповеди, а люди слишком грубы, чтобы их понять. Затем, держа этот образ в уме, вы узнаёте привычки его жизни, и вся ваша тонко сплетённая жалость рассыпается: оказывается, какие бы другие препятствия ни существовали, самое заметное состоит в том, что человек не делает всего, на что способен. Его труд в беспорядке; он пренебрегает своими людьми так, как никакой врач не мог бы пренебрегать пациентами и никакой адвокат — доверителями; а проповеди пишет в субботу ночью. Последнее я считаю венцом бесчестия в служении человека. Это нечестно. Это значит отдавать лишь последний отблеск недели, гаснущей в своём подсвечнике, тем, кто, если говорить просто об обязательстве, заплатил за полный свет в самом ярком его горении. И всё же люди этим хвастаются. Они рассказывают, за какое короткое время пишут проповеди; а услышав, как они проповедуют, вы удивляетесь лишь тому, почему понадобилось так долго. Ах, друзья мои, удивительно, какой центральной силой является нравственный закон! Первичная реальность долга лежит в самой сердцевине всего. Действия, которым мы не приписываем нравственного характера, движутся силой, заключённой в этой пружине. Нарушьте её в человеке — и вкус его развратится, а ум исказится. Первая необходимость для проповедника и для подносчика

кирпича одна и та же. Будьте верны и всегда делайте всё, на что способны, для каждой общины и при всяком случае.[1]

[23] Очень любопытный предмет изучения человеческой природы — то, как нравственное чувство иногда страдает в связи с высшими духовными переживаниями. Человек, который нигде больше не станет обманывать, оказывается лицемером в религии. Человек, действительно желающий обратить своих братьев, порой пытается сделать это, проповедуя чужие проповеди как собственные. Отчасти причина, полагаю, в смутном чувстве возвышения, которое словно несколько ослабляет власть обычной нравственности над человеком, как земное притяжение ослабевает для поднявшегося к звёздам. А у некоторых это нравственное разложение, возникающее из чувства, что они занимают место, которому не соответствуют, обременены обязанностями, к которым не имеют способностей. И в политической, деловой или церковной жизни это самое разлагающее сознание, какое человек может испытывать.

[24] Этот вопрос верности, полагаю, касается почти всех трудностей, связанных с принуждением или диктатом, с которыми служитель сталкивается со стороны своих людей. Я склонен считать, что почти все трения между служителями и приходами происходят от неразумия служителя, если не от его вины. Это не значит, что другая сторона не бывает достаточно часто виновата. Но мне кажется разумным ожидать: поскольку интерес служителя к приходу сильнее и сосредоточеннее, чем у любого мирянина, он должен обладать такой мерой влияния, которая при мудром применении позволила бы предотвратить почти любую неприятность, прежде чем та

вырастет настолько, чтобы вызвать гневное участие людей, чья жизнь в значительной мере занята другими вещами. Приходские ссоры существуют. Если я прав, друзья мои, в вашем приходе никогда не будет ссоры, которую вы не могли бы предотвратить, и вы никогда не выйдете из неё без ущерба для своего характера и дела своего Господина. Меня удивляет, с какой свободой служителю позволяют вести своё дело по-своему, если только его люди верят в его безупречную верность. Возьмите, например, произнесение старых проповедей. Это нехорошо. В новой проповеди, только что вышедшей из ума, всегда есть жизнь, которой недостаёт старой, хотя бы сама по себе она была лучше. Причина — в значимости того личностного начала проповеди, о котором я говорил в первой лекции. Вы можете снять проповедь с полки, смахнуть пыль с обложки, и перед вами та самая проповедь, которую вы произнесли в памятный день, когда пылали новым направлением своих занятий или окружающим вас духовным усердием. Бумагу можно воспроизвести, человека — нельзя, а проповедь была человеком и бумагой вместе. Нет, я бы сделал произнесение одной и той же проповеди одним и тем же людям как можно более редким. Но я хотел сказать вот что: главное возражение людей против старых проповедей состоит в создаваемом ими впечатлении неверности и праздности. Пусть вся жизнь служителя делает такое подозрение невозможным — и жалоб не будет. Служитель, в чью верность люди верят, может поступать по собственному усмотрению. Он не должен хитрить. Он не должен подставлять старые проповеди к новым текстам. Новые проповеди на старые тексты лучше. Но он может пользоваться своим суждением, а те проповеди — и есть такой их разряд, — которые от

повторения не теряют, а скорее приобретают, может произносить вновь и вновь, пока они не станут для людей подобны самым любимым гимнам или отрывкам из давно любимой духовной книги.

25 Одна из самых примечательных особенностей рабочих методов проповедника — то, как они складываются в первые годы служения, а затем властвуют над ним почти деспотически до конца. Сегодня я раб — и, полагаю, таков всякий служитель — способов работы, сложившихся за первые два-три года после начала проповеди. Новизна занятия, неожиданность всего, о которой я говорил в начале сегодняшней беседы, раскрывает всю жизнь и делает её восприимчивой. А серьёзность и свежее воодушевление тех дней закрепляют складывающиеся привычки, облекают их чем-то почти священным и делают практически почти неизменными. Именно в эти годы проповеднику необходимо особенно внимательно беречь собственную рассудительность и независимость. Пока глина лежит в береговом пласте, не так важно, кто по ней ступает. Когда же глина затвердела в вазе, та может тесно прижиматься к другой вазе и всё же сохранять форму. Но когда глина только схватывается, а форма ещё мягка, тогда и нужно беречь её от ударов и давления, способных исказить её навсегда. Поэтому позаботьтесь, чтобы привычки и методы вашего начинающегося служения были прежде всего вашими. Не позволяйте никакому уважению, сколь бы глубоким и заслуженным оно ни было, к какому-либо герою кафедры подчинить вас ему. Пусть ваша природа свободно вырабатывает собственные пути. Только убедитесь, что эти пути действительно исходят из вашей природы, а не из одних случайных обстоятельств первого прихода. Пусть они будут разумны — не просто такими, на которые вы

случайно набрели, а такими, для которых можете привести веские основания. Пусть они будут благородны, сообразны широкому идеалу и самым священным целям вашего труда, а не мелким удобствам. И пусть будут достаточно широки, чтобы оставить место вашему росту. Идеи и рабочие методы подобны домам. Переходить из одного в другой — расточительно и уныло; но обнаруживать, как избранное жилище раскрывает новые возможности вместить нашу растущую умственную семью, приятно и ободряюще. Это даёт одновременно чувство укоренённости и продвижения. Самый счастливый и плодотворный старик — тот, чья жизнь была полна роста, но свободна от переворотов; кто всё ещё живёт в тех же мыслях и привычках, что и в юности, но обнаружил в них то, что, по рассказу евреев, израильтяне обнаружили в своих одеждах за сорок лет пустыни: они не просто не ветшали, а росли вместе с их ростом при переходе от юности к зрелости.

[26] Надеюсь, говоря о методах проповедника, я не разочаровал ваших ожиданий тем, что так много останавливался на началах и так мало входил в подробности. Любому служителю было бы довольно легко развлечь себя, а может быть, и вас чтением своего дневника. Но это было бы нехорошо. Я хочу, чтобы вы усвоили две вещи. Во-первых, если ваше служение должно чего-нибудь стоить, оно должно быть вашим служением, а не слабым отголоском чужого. Во-вторых, христианское служение — не простое применение свода правил и образцов, а широкая, свободная, свежая встреча человека с людьми в таком тесном соприкосновении, чтобы Христос, вошедший в его жизнь, мог через неё войти в их жизнь.

27 Мне остаётся прибавить лишь несколько слов о духе, в котором проповедник трудится лучше всего. После всего сказанного эти положения не потребуют подробного развития. Простите, если я позволю себе выразить их самыми простыми и сильными повелениями, какие могу найти.

28 Первое: считайте себя и с радостью считайте себя слугой тех людей, которым служите. Не в качестве затёртого образа, а в самой действительности называйте себя их слугой и будьте им.

29 Второе: никогда не позволяйте себе чувствовать, будто вы вполне соответствуете своему труду. Если когда-нибудь заметите в себе рост такого духа, устрашитесь и немедленно возьмитесь за самый трудный участок работы: попытайтесь обратить самого упорного неверующего, попробуйте проповедовать на самую требовательную тему, чтобы показать себе, насколько вы всему этому не соответствуете.

30 Третье: будьте глубоко честны. Никогда не смейте ни на кафедре, ни наедине, ни в пылу возбуждения, ни приспосабливаясь к тому, что от вас, как вы знаете, ожидают услышать, произносить хотя бы одно слово, которому вы в минуту произнесения не верите. Возможно, это сузило бы круг сказанного вами, но зато сообщило бы каждому оставшемуся слову силу десяти.

31 И наконец, будьте исполнены жизненной силы, будьте живыми, не мёртвыми. Делайте всё, что сохраняет вашу жизненность в наибольшей полноте. Не смейте пренебрегать даже телесной жизненной силой. Один из самых замечательных проповедников нашей страны, по-моему, во многом черпает свою силу просто из

телосложения, из впечатления жизненности, из почти вещественной притягательной силы, которая передаётся от него сидящим перед ним людям. Прежде всего молитесь о полноте жизни и трудитесь ради неё: о полнокровии тела, о полноте честности и истины в уме, о полноте благодарной любви к Спасителю в сердце. Тогда, какую бы отметку — неудачи или успеха — люди ни поставили вашему служению, вы не можете потерпеть неудачу, вы непременно достигнете успеха.

Лекция 4. Замысел проповеди

[1] Я долго говорил о проповеднике и его характере, потому что он необходим самой проповеди. Он не может выпустить проповедь в мир, как писатель свою книгу или художник свою статую, и позволить ей отныне жить жизнью, совершенно независимой от него. Вот почему проповеди обычно неинтересно читать. По крайней мере, это одна из причин. Иногда вы находите сборник проповедей, которые словно сохраняют в себе автора, так что, читая, чувствуете его присутствие в комнате. Но обычно читать проповедь — всё равно что слушать эхо. Слова остались, однако личная интонация из них ушла, и всё окружено некоторой нереальностью. Иногда встречаются проповеди, которые не вызывают мысли о том, что их когда-либо произносили, и потому не создают этого чувства. Но, когда их произносили, они не были хорошими проповедями — едва ли вообще были настоящими проповедями. В целом верно: проповедь, которую хорошо произносить, плохо читается, а проповедь, которую хорошо читать, плохо звучит. Есть исключения, но общее правило таково.

[2] Всё, что есть в проповеди, прежде должно быть в проповеднике: ясность, логичность, живость, серьёзность, мягкость и свет должны быть его личными качествами, прежде чем станут качествами мысли и языка в том, что он говорит своим людям. Если у вас есть художник, остаётся дать ему мрамор и резец вместе с простым техническим умением — и у вас будет статуя. Если у вас есть проповедник, нужно совсем немного, чтобы высвободить заключённую в нём проповедь. В этой и следующей лекциях я хочу говорить о проповеди. Я

проведу разграничение не вполне точное, но, возможно, полезное: сегодня буду говорить больше об общей цели и замысле проповеди, а в следующий четверг — больше о её создании и методе.

[3] Мне кажется, уже с самого начала определённая и непосредственная цель, стоящая перед проповедью, не позволяет рассматривать её как произведение искусства; всякая попытка такого рассмотрения вредит цели, ради которой проповедь создана. Многие бессильные проповеди обязаны своей неудачей слепому и бесплодному стремлению произвести нечто художественное, соответствующее какому-то типу или образцу, который толком не понят, но считается существенным и вечным. Неразумность этого обнаруживается, стоит лишь задуматься. Проповедь существует в своей цели и ради неё. Эта цель — убеждать человеческие души и побуждать их к движению. Её никогда нельзя терять из виду. Если это происходит, проповедь слабеет. Цель не всегда на поверхности; в речах постоянного пастыря она не всегда столь порывиста и пламенна, как в призывах благовестника, который обращается к стоящим перед ним людям единственный раз. Проповедь постоянно служащего проповедника становится спокойнее, но никогда не может утратить сознания цели; никогда не может оправдать уступки себе, которая мешает этой цели или отдаляет её. Она всегда направлена на людей. Всегда смотрит им в лица, чтобы увидеть, как воздействует на них. Она не знает существенного и вечного типа: закон того, какой ей следует быть, исходит из нужд и непостоянных перемен людей, ради которых она живёт. Всё это совершенно нехудожественно. Искусство созерцает абсолютную красоту и служит ей. Произведение искусства в чистом

виде — чистое выражение прекрасной мысли в прекрасной форме, без иной цели, кроме самого выражения. Поэма или статуя могут наставлять, вдохновлять и обличать людей, но если такой замысел присутствовал при их создании, он нарушал чистоту их художественного качества. Искусству чужда бурная горячность настойчивой цели. Оно предельно спокойно и независимо от людских прихотей. Фидий, заброшенный к варварскому народу, должен изваять не отвратительного идола, который взбудоражит его грубую кровь неистовой причудливостью, а ту же безмятежную и возвышенную красоту Афины, какую он изваял бы в Афинах. Если она вовсе не достигнет грубых и притуплённых чувств варваров, это не будет бесчестием для неё как произведения искусства: художественное и поучительное отдельны друг от друга.

[4] И всё же в истории проповеди мы постоянно встречаем склонность обращаться с ней как с произведением искусства. О ней говорят так, словно она обладает ценностью сама по себе. Мы слышим о красивых проповедях, будто они существуют исключительно на том основании, что «красота сама оправдывает своё бытие». Эпоха великих французских проповедников, эпоха Людовика XIV с её проповедями в салонах критически настроенных и скептических вельмож и дам, предлагавших друзьям развлечение в лице последнего открытого ими проповедника, была полна этого ложного представления о проповеди как произведении искусства. И более трезвый англичанин — будь то пуританин, хвалящий только что услышанное старательное истолкование, или член государственной церкви, наслаждающийся отточенными периодами Тиллотсона либо Саута, — по-своему впадает в ту же ересь. Думаю,

нам полезно вернуться к простым проповедям Нового Завета. Я не говорю о совершенных речах нашего Господа, хотя в них мы нашли бы самое сильное подтверждение сказанного: возьмите проповеди святого Петра, святого Стефана, святого Павла, а от них перейдите к проповедям, которые с тех пор были велики именно как проповеди. При всём разнообразии одно постоянно остаётся верным: все они были ценны исключительно тем делом, которое могли совершить. Они были орудиями, а не произведениями искусства. Превращать орудие в произведение искусства, изощрять форму и чеканить поверхность топора, которым предстоит рубить дрова, — дурной вкус. И всякое впечатление от проповеди, будто она забыла свою цель и получила форму ради чего-то иного, чем можно было бы в самом широком смысле великих слов назвать спасением душ, делает её оскорбительной для по-настоящему хорошего вкуса и скучной для обычного человека, ощущающего несоответствие, которое он не может определить. Сила проповедей отцов-паулистов в Римской церкви и мистера Муди в протестантизме заключается именно здесь: в ясном и ничем не нарушенном присутствии цели. Многие служители, вовсе не подозревающие ничего подобного и думающие, что проповедуют исключительно ради блага душ, лишают свои проповеди силы, потому что, даже не сознавая этого, стараются сделать их не только проповедями, но и произведениями искусства. Было старое слово, которое, кажется, вышло из употребления. Люди говорили о «сочинении проповедей». О хорошем проповеднике говорили, что он «прекрасный сочинитель проповедей». В слове заключался именно этот порок: оно превращало проповедь в достижение, к которому стремятся и которым наслаждаются ради него самого,

независимо от того, что оно может сделать, — как картиной или ораторией, как Венерой Милосской или «Сном в летнюю ночь».

5 Здесь же лежит истина о том, как можно принести общине действительно высокую истину и тщательно продуманную мысль. Мы часто слышим о проповеди поверх голов слушателей. Такое бывает. Но обычно выстрел проходит мимо не из-за характера снаряда, а из-за неверного прицела. Для проповедника нет ничего хуже, чем прийти к мысли, будто он должен снисходить в своей проповеди к людям, будто они неспособны принять лучшее, что он может дать. Он начинает презирать собственные проповеди, и люди быстро учатся разделять мнение своего служителя. Люди извлекут сердцевину из самой основательной и глубокой проповеди, если только это действительно проповедь. Даже тонкость мысли, прослеживание сложных связей между идеями — удивительно, как люди, сами не обладающие тонким мышлением, способны за этим следовать, если это действительно проповедуется. Но тонкость, любующаяся собой, прядущая тонкую нить ради собственного удовольствия увидеть, насколько тонко её можно спрясть, раздражает и отталкивает их; и они правы. Никогда не бойтесь призывать своих людей следовать за лучшей вашей мыслью, если только она действительно старается куда-то их привести. Доверие служителя к людям лежит в основании всякого доверия людей к служителю.

6 Сказанное относится также к тому, что мы время от времени слышим со времён «Зрителя»: к пожеланию, чтобы посредственные служители, вместо того чтобы предлагать людям собственные посредственные мысли, обращались к уже выполненному хорошему труду и

читали какую-нибудь проповедь одного из великих мастеров. И здесь то же представление о «сочинении проповедей». Подлинный замысел проповеди потерян. Если бы такая практика вошла в моду, она быстро уничтожила бы силу кафедры. Это было бы не только признанием неспособности: исчезло бы представление о живой речи, о нынешнем обращении ради нынешней цели. Не думаю, что можно было бы ожидать непрерывного интереса к проповедническому труду или даже его устойчивого существования, если бы такое представление стало господствующим и общепринятым.

7 Первым добрым следствием решительного утверждения, что проповедь следует оценивать исключительно по отношению к её собственным целям, станет новая и более широкая свобода проповедника. Мы слишком узко определяем идею проповеди, желая привести её в соответствие с заранее установленным типом того, какой она должна быть. Проповедь ничего не должна представлять собой, кроме пригодного средства передачи истины людям. Нет такого образца проповеди, настолько странного, нового и отличного от всех прежних образцов, чтобы, если вам стало ясно, что именно в этой форме порученная вам весть лучше всего достигнет тех, кому вы должны её передать, у вас не было бы права — более того, обязанности — проповедовать свою истину в этой новой форме. Я признаю, что принятые формы проповеди первоначально были созданы стремлением к пользе и лишь постепенно приобрели вторичную ценность и значимость сами по себе. Так возникает всякая подобная суеверная оценка чего-либо. Поэтому я признаю и то, что молодой проповедник вполне вправе предполагать известные преимущества у тех типов проповеди, которые уже находятся в употреблении. Он не станет отходить от

них по прихоти. Уверен, все слушатели проповедей скажут: «Лучше самое рабское следование правилу, чем отступление от него ради одного отступления. Лучше скованные движения подражания, чем причудливые жесты намеренной оригинальности». Но я прошу вот о чём: при всём желании создавать хорошие проповеди не считайте хорошей ту, которая не выполняет своего дела. Позвольте цели вашей проповеди свободно действовать в её форме и изменять её. Тот, кто оригинален ради оригинальности, столь же подчинён образцу, от которого отходит, как и другой, рабски ему следующий. Но тот, кто свободно пользуется найденными образцами и всё же всегда заставляет их подчиняться целям применения, — их настоящий господин, а не раб. Лишь такая оригинальность одновременно обеспечивает наибольшую действенность проповедника и развивает общий тип и замысел проповеди, сохраняя её от однообразия и делая всё лучше от века к веку.

[8] Теперь позвольте обратиться к некоторым постоянно возникающим вопросам, затрагивающим общее представление о том, какой должна быть проповедь, и сказать несколько слов о каждом.

[9] Один из самых интересных вопросов, возникающий в разных формах, связан с необходимостью, о которой я уже столько говорил: соединить личное влияние и отвлечённую истину, чтобы создать совершенную проповедь. Есть проповеди, в которых проповедник вовсе не появляется; есть другие, где он грубо и навязчиво выставлен на первый план; есть и такие, где он скрыт, но ощутим: сила личной убеждённости и горячей любви изливается через доводы, которыми он пользуется, и обещания, которые предлагает. Самый заметный пример

второго разряда — проповедей с неприятно выпяченной личностью служителя — то, что, как мне кажется, стало довольно распространённым в последнее время и что можно назвать автобиографическим стилем проповеди. Некоторых проповедников достаточно послушать год, чтобы потом написать их биографию, если бы это стоило труда. Каждую истину, которой они хотят научить, они поясняют событием собственной истории. Каждую перемену характера, к которой хотят побудить, показывают в той форме, в какой она произошла с ними. Рассказ об их обращении становится для общины столь же привычным, как история обращения святого Павла. Это самая грубая попытка соединить личность и истину. Они не сплавлены, а лишь связаны друг с другом. В этом есть определённая сила. Удивительно, как интересен почти всякий человек, откровенно рассказывающий о себе. Невозможно не слушать болтливого развёртывания его истории. И на кафедре это, несомненно, сообщает известную живость, когда популярный проповедник, чьи люди уже заинтересованы его личностью и любопытствуют о ней, после какого-нибудь довода вдруг поворачивает речь и вместо привычного кафедрального «Но возражающий ответит» бойко восклицает: «В прошлый понедельник после обеда ко мне в кабинет пришёл человек» — или: «Один человек встретил меня на улице и сказал: „Мистер такой-то, — называя собственное имя, — что вы скажете на это возражение?“» Это придаёт всему ясную конкретность и питает любопытство к образу жизни друг друга, из которого вырастают все наши пересуды.

[10] Вред этой привычки достаточно очевиден. Не говоря о том, как она тяготит лучший вкус и как её сила иссякает по мере того, как часто выставляемая напоказ особа

служителя становится привычной и перестаёт внушать уважение, она несомненно склонна сужать представляемый круг христианской истины и опыта. В приходах, где личность проповедника занимает столь заметное место, где люди постоянно слышат, как он усвоил эту истину или прошёл через то чувство, сужается всякое восприятие мысли и осуществление опыта. Их ожидают именно в том виде, который столь часто и ярко изображали. Если они приходят в иных формах, им не доверяют. Богатое разнообразие и широта христианской жизни теряются. Есть приходы, за годы долгого пастырства ставшие лишь колоссальным повторением личности своего служителя. Они — форма его опыта, увиденная сквозь туман: увеличенная в размерах, но смутная и неясная в очертаниях. Каждый прихожанин — ослабленное повторение идей и привычек служителя. Думаю, служитель всё больше учится радоваться бесконечному разнообразию христианской жизни, которая всё же всегда остаётся той же самой. Оно показывает возможность христианства столь же всеобщего, как человечество, — христианства, в котором сохранялись бы и разнообразие, и единство человечества. Всякое чрезмерное выдвижение себя в наставлении утрачивает ту широту, от которой зависит надежда на это разнообразие в единстве.

[11] Есть нечто лучшее. Есть тонкое, незаметное проникновение человека в свой труд, которое достигает того, чего это грубое скрепление двух начал пытается, но не может достигнуть. Возьмите, например, проповеди Робертсона. Из моих прежних упоминаний вы знаете, что я вполне разделяю ту высокую оценку, которую множество людей даёт этим замечательным речам. Думаю, по всем лучшим качествам проповеди они стоят

выше всех проповедей нашего времени. И одна из самых примечательных их особенностей — то, как личная сила проповедника и собственная сила истины соединяются в одно мощное впечатление. Личность никогда не замутняет мысли. Я не помню ни одного упоминания его собственной истории, ни одного рассказа из его жизни, — но это его проповеди. Мысль сильнее для нас потому, что он её продумал. Чувство живее потому, что он его пережил. И всегда он ведёт нас к Богу путём, которым сам прошёл. Интересно читать вместе с проповедями историю его жизни, видеть, что он переживал тогда, когда была произнесена та или другая проповедь, и наблюдать, как нередко можно без всякого подозрения в произвольной фантазии увидеть: опыт излил в проповедь свою силу, оставив снаружи фактическую оболочку. Его проповеди были словно небом его жизни, в котором жил дух этой жизни, сбросив её тело. Конечно, бывали проповедники и писатели, у которых выражение истины естественно принимало автобиографические формы и которые всё же были одновременно сильны и широки. Из проповедей Латимера можно собрать всю его историю, а Мильтон дал нам значительную часть своего учения в связи с событиями собственной жизни. Но обычно в литературе — и, несомненно, в проповеди — верно то же, что в жизни. Больше всего духа своей жизни передаёт вам не тот, кто навязывает вам её события. Самые откровенные люди не самые влиятельные. Сдержанный человек, которому дорога истина и который желает, чтобы его братья её знали, поэтому всегда удерживает при себе одну лишь оболочку случайностей и обстоятельств, в которую истина для него облеклась, но посылает саму истину со всей ясностью и силой, приобретёнными благодаря этому воплощению, — вот

лучший проповедник, как и всюду это самый влиятельный человек. Старайтесь жить такой жизнью, столь полной событий и отношений, чтобы две великие реальности — сила Христа и ценность душ ваших братьев — стали для вас осязаемы и достоверны: не предметами рассуждения и верования, а действительностями, которые вы видели и познали. Затем уберите оболочку личного опыта, чтобы она не стесняла истину, которую вы должны высказать, и пусть истина выходит, как летит снаряд: унося с собой силу орудия, но оставляя само орудие позади.

12 Я нахожу нечто прекрасное в том, как многие люди, которым кажется невозможным всякое иное выражение себя, охотно принимают возможность высказать лучшую часть собственной жизни — её сущность, её итог, — которую даёт и к которой даже побуждает кафедра. Я знал робких, замкнутых людей, которые, стоя на кафедре, перед тысячью глаз отдёргивали покровы, свято закрытые, когда их могли видеть глаза единственного друга. Вы могли бы поговорить с ними сто раз и не узнать так много о том, кто они, как услышав их проповедь однажды. Отчасти причиной была безличность большой общины. Перед ними стояло человечество без стесняющего присутствия отдельной личности. Открыть свою тайну человечеству не значило нарушить верность себе. Именно отдельный человек заставлял их молчать. Но, кроме того, думаю, вид множества ожидающих лиц высвобождал в них новое, ясное знание того, чем была их истина или тайна: распутывал её из мелких обстоятельств, в которых она запуталась, сначала вызывал к ясному сознанию, а затем побуждал к выражению с властью, которой они не признавали за любопытством отдельного человека, требующего подробностей их жизни. Человеческий род,

представленный большим собранием, имеет для многих из нас больше власти и больше обаяния, чем отдельный человек, сколь бы близок он ни был. И тот, кто молчит перед расспрашивающим, изливает перед множеством людей самую глубину души. Он не напечатает дневник для всеобщего чтения, но расскажет ближним, чем Христос может стать для них, так, что они увидят, как видит Бог, чем Христос стал для него.

[13] Думаю также, что эта первая истина проповеди — служитель входит в проповедь — касается пункта, о котором я говорил в прошлой проповеди: её авторитета. Проповедь — Божья весть, посланная через вас некоторым вашим ближним. Если бы она приходила к ним точно такой, какой исходит от Бога, она была бы абсолютно истинной и имела бы абсолютную власть. Если погрешимый вестник примешивает себя к непогрешимой вести, её безусловный авторитет в известной степени ограничивается. Но мы уже видели: сама идея проповеди предполагает, что вестник должен соединять себя с принесённой вестью; а как простой факт мы знаем, что всякий проповедник возвещает истину со своей точки зрения и следует собственному суждению, просвещённому учением и молитвой, когда говорит, как вечная истина применяется к временным обстоятельствам. Кое-что из говоримого с кафедры вы знаете; другое — ваши предположения. В очень большой мере это относится к предвидениям и пророчествам о судьбе Евангелия и его отношениях с обстоятельствами особых времён, которым предаются служители. Джон Уэсли говорил: «Неверующие знают, знают это христиане или нет, что отказаться от веры в колдовство — фактически значит отказаться от Библии». Когда мы были детьми, нам проповедовали, что Библия должна устоять

или пасть вместе с человеческим рабством. Теперь мы постоянно слышим, что с религией случится то-то и то-то, если примут ту или иную естественнонаучную теорию. Такие пророчества всегда дурны. Проверки, которые не являются существенными и безусловными, приносят большой вред. Но всё это примеры того, как предположения, личные мнения — если угодно, предрассудки — неизбежно пристают к выражению истины живым человеком. Это неизбежно; что же должно последовать? Либо все предположения необходимо отсечь и свести проповедь к простому повторению бесспорной и никем не оспариваемой истины, так что всю её сумму составят лишь первичные факты христианства, одни только принимаемые безусловно «semper, ubique et ab omnibus» — «всегда, всюду и всеми»; либо проповедник должен дать людям ясно понять: между фактами, составляющими его весть, и осмыслением этих фактов, представляющим его наилучшее и самое истинное суждение, есть ясное различие. Первые приходят с властью Божьего откровения. Второе — с той убедительностью, которую сообщает ему собственная разумность. Первый путь неосуществим. Никто никогда так не делал. Ни один человек, утверждающий, что проповедует лишь простое Евангелие, не проповедует его настолько просто, чтобы в нём не было чего-нибудь от его собственных рассуждений о нём. Другой путь — единственный. Даже святой Павел пришёл к нему в посланиях. Но как мало проповедников принимают его откровенно! Мы покрываем всё сказанное — наши незрелые догадки, наши невежественные предвидения — некоторой смутной и неопределённой властью; и люди, слыша требование верить всему и видя, что часть этого неверна, в действительности ни во что из этого не верят

подлинно и сердечно. Мы растягиваем свой авторитет, пытаясь охватить им столько всего, что он истончается и уже не может прилично прикрыть ничего. Нам нужна откровенность, позволяющая сказать: «Это Божья истина, а это другое — то, что думаю я». Если бы мы были так откровенны, сколько доброго произошло бы! У служителя появилось бы пространство для умственной перемены и роста, и ему не пришлось бы красть их, словно нечто, на что он не имеет права. Люди могли бы слушать многих проповедников, слышать их разногласия и всё же не приходить в растерянность и смятение. А каждый проповедник вместе с ясно признанным правом должен был бы принять обязанность мыслить о Божьих вещах.

[14] Один из самых интересных вопросов, возникающих при попытке составить представление о том, какой должна быть проповедь, подсказывается временами или постоянно слышимыми протестами против проповеди учения и требованиями практических проповедей либо того, что называют «проповедовать только Христа». Позвольте поговорить об этом. Я не считаю этот протест нелепым. Не думаю, что проповеднику следует закрывать на него уши. Несомненно, он весьма слеп и неразумен. Таковы все массовые протесты. У всякого народного движения и требования в целом одна история. Оно начинается со смутного недовольства, которое даже не пытается объяснить собственный смысл, а затем переходит в три различных проявления. Первое — честная попытка его сторонников изложить его основания и дать понятное объяснение. Второе — стремление его противников исказить и опорочить его. Третье — усвоение его выражений людьми, которых оно мало заботит, но которым нравится изображать интерес ко всему, что сейчас на виду. На этой последней стадии

народное движение становится модным пустословием. Никогда не было волнения и недовольства, сдвига и нового устремления человеческих умов, которые не выражались бы во всех этих формах. Недовольство тем, что называют догматической проповедью, проявляется во всех трёх. В основе его — недовольство чем-то, что человеческие души чувствуют как неправильное. Затем приходит попытка людей сформулировать свою жалобу; часто она очень неразумна и, будь её требования исполнены, смела бы заодно всё подобие положительного христианства. Затем появляется искажение народного требования: о нём говорят так, словно оно целиком исходит из духа равнодушия или неверия. И наконец приходит самое низкое падение, до которого может дойти нечто, способное быть разумным мнением: манерность, притворно ужасающаяся всему похожему на догматизм и бессмысленно повторяющая хвалы недогматической проповеди. Служитель встречается со всем этим. Что ему делать? Ему достаточно легко разоблачить нелогичное рассуждение, легко увидеть его заблуждения, легко презреть пустословие; но ему не должно быть легко закрыть уши для того, из чего всё это происходит: глубокого, слепого, неразумного недовольства чем-то явно неправильным. Именно к этому он должен приложить свой разум. Само недовольство не может объяснить, что означает. Он должен выяснить его смысл и не позволить неприятности отдельных проявлений отвратить себя от внимательного понимания его подлинного значения.

15 Ибо оно действительно что-то означает, а именно: люди, ищущие закон жизни и вдохновение для жизни, встречают теорию жизни. Значительная часть нашей проповеди похожа на чтение больным лекций о медицине.

Лекция верна. Лекция интересна. Более того, её истина важна, и, если бы больной мог её усвоить, он стал бы лучшим пациентом, ответственнее принимал бы лекарство и разумнее соблюдал диету. Но факт остаётся фактом: лекция не лекарство, а обязанность проповедника — дать лекарство, а не прочитать лекцию. Я знаю, как обманчиво такое сравнение. Не будем проводить его слишком далеко; но признаем, что мысль, преследовавшая религиозную жизнь человечества и не являющаяся истинной, оказала серьёзное и дурное влияние на проповедь. Это мысль, будто спасительно обладание определёнными истинами, а не определённым характером. Это представление, что вера состоит в признании утверждений. Пусть эта ересь действует в уме проповедника открыто или скрыто — он неизбежно впадает в тот порок, на который люди жалуются, говоря о догматической проповеди. Он возвещает истину ради её собственной ценности, а не в прямом отношении к её плодам в жизни.

[16] Не моё дело доказывать здесь, что представление о вере, из которого происходит такая проповедь, не есть представление Писания, не есть представление Иисуса. Но в мою область входит указать, какое влияние исходное понимание спасающей веры должно оказать на всё представление человека о проповеди. Проповедник, полагающий, что вера — это обладание истиной, должен постоянно стремиться спасать людей от принятия заблуждения и приводить их к знанию истинного. Тот, кто считает веру личной верностью, должен всегда стараться приводить людей ко Христу и Христа к людям. Какое понимание верно? Как я сказал, обсуждать это не моё дело. Но я вправе просить вас серьёзно задуматься, какова была вера, которую Христос так жаждал увидеть в

учениках, и какова должна быть вера, чьё «испытание», или воспитание, по словам святого Петра, «гораздо драгоценнее гибнущего золота». Подобные слова неизбежно вводят нас в область характера; а мы знаем, что именно его Бог ценит в человеке и ради него Христос трудился, жил и умер.

17 Мне кажется, это делает истину о проповеди учения вполне ясной. Спасение человеческих душ от греха, обновление и совершенствование их характера — великая цель всего. Но совершает это Христос. Следовательно, привести их ко Христу, чтобы Он это совершил, сделать Христа ясным для них, чтобы они могли Его найти, — вот труд проповедника. Но я не исполню долга сделать Христа ясным, если не расскажу о Нём всё богатство, которое знаю. Я не должен ничего удерживать. Всё, что пришло ко мне о Нём из Его слова; всё, что прояснилось о Его природе или Его путях через внутренний либо внешний опыт; всё, что Он рассказал мне о Себе, становится частью вести, которую я должен передать тем людям, которых Он послал меня призвать домой к Себе. Я сделаю это во всей полноте. И это — проповедь учения, положительной, определённой, отличительной христианской истины. Только за истиной всегда стоит характер как её конечная цель. Лишь когда я забуду это и начну рассказывать людям о Христе так, словно последняя цель моей проповеди — чтобы они знали истину о Нём, а не стали тем, чем знание этой истины помогло бы им стать, — лишь тогда я начну проповедовать учение тем неправильным способом, который люди пытаются описать, говоря о «догматической проповеди».

18 В действительности никакая проповедь никогда не обладала большой силой, если не была проповедью

учения. Проповедники, затрагивавшие и удерживавшие людей, всегда проповедовали учение. Никакое увещание к доброй жизни, за которым не стоит истина глубиной в вечность, не может овладеть совестью и удержать её. Проповедуйте учение, проповедуйте всё учение, которое знаете, и вечно узнавайте всё больше; но всегда проповедуйте его не ради того, чтобы люди в него поверили, а ради того, чтобы, уверовав, спаслись. Тогда оно будет живым, а не мёртвым. Тогда люди будут ему радоваться, а не осуждать его. Тогда они будут питаться им из ваших рук как хлебом жизни — крепким и сладким, по праву требующим того человеческого аппетита, который Бог создал для него.

19 Я склонен думать, что идея проповеди настолько по самой своей природе едина, что проповедь необходимо соединяет такие начала, отсутствие любого из которых ослабляет её сущность; поэтому обычные классификации проповедей малозначительны. Мы слышим об истолковательной проповеди и тематических проповедях, о практических проповедях, об увещательных речах, словно каждый отдельный вид существует сам по себе. Кажется, от проповедника ожидают еженедельного решения, какой вид проповеди выпадет следующему воскресенью, и затем сознательного труда над его созданием. Возможно, это и хорошо; но я откровенно говорю: для меня проповедь представляется единым целым, и ни одна не кажется полной, если не включает всех этих начал; попытка сделать её только одного вида калечит замысел и создаёт одностороннюю вещь. В каждой проповеди одно начало будет преобладать в соответствии с природой предмета, а её строение будет различаться смотря по тому, решите ли вы объявить тему или сделать её комментарием к словам Христа либо

апостолов. Но простое преобладание одного начала не должно исключать остальные, и различие форм не создаёт действительного различия проповедей. Проповедь, всецело состоящую из толкования, люди склонны находить скучной и бесцельной. Это зарница: мерцает над многими темами, но нигде не ударяет. Обсуждение темы может быть интересным, но становится неудовлетворительным, потому что не закрепляется на авторитете Писания. Оно привлекает дарование и изобретательность проповедника, но склонно отпускать людей с чувством, что они больше слышали его, чем Бога. Проповедь, только доказывающая, почти наверняка доказывает напрасно; а проповедь, только увещевающая, подобна человеку, который раздувает дрова и уголь, не поднеся к ним прежде огня. Каждая сама по себе неполна; но восполнять одну другой в отдельной проповеди — конечно, очень грубый, несовершенный способ справиться с трудностью. Лучше исходить из чувства, что всякая проповедь должна иметь твёрдую опору в Писании, меткость ясного предмета, убедительность продуманного довода и тепло серьёзного обращения. Я назвал неопределённость недостатком, чаще всего сопровождающим то, что обычно называют истолковательной проповедью. Помимо него есть и другой — узость взгляда. Я знаю, что он не присущ ей необходимо. Знаю, что толкователь может отказаться быть лишь искусным объяснителем текстов, извлекающим частные учения из одного лепестка великой книги или довода, которые составляют соразмерный цветок. Комментируя отдельную главу, он может настоять на охвате замысла всего Послания. Он может призвать многообразное сияние всего Нового Завета, чтобы увидеть смысл сомнительного стиха. Но всем нам известна

опасность для одного лишь толкователя любой книги — будь то Шекспир или Библия. Нет основания считать, будто в Библии, в отличие от Шекспира, подробное изучение частей не может повредить пониманию целого. Те же силы и те же слабости человеческого ума присутствуют в священном исследовании, что и в том, которое мы называем светским. Выход не в отказе от подробного и добросовестного изучения, а в тщательном сохранении более широкого замысла и духа труда. Наша литература изобилует примерами этого различия. Сравните благородные и живые страницы «Истории Иудейской церкви» декана Стэнли с трудом обычного комментатора отдельных текстов — кто истинный истолкователь Ветхого Завета? Более широкий взгляд, в котором живут поэзия и существенная истина, приходит через попытку охватить тему целого. Поэтому проповедь, наиболее гармонично соединяющая в одной речи все разновидности, из которых люди строят классификации; сильная обращением к авторитету, широкая охватом истины, убедительная для разума и горячая в обращении к совести и сердцу, — всё это одновременно, — ближе всего подходит к типу апостольских посланий, наиболее полно и потому наиболее мощно приближает истину ко всему человеку. Именно такого проповедования, при должной свободе для наших личных особенностей, лучше всего всем нам искать и в себе воспитывать.

[20] Есть, правда, другая классификация проповедей, которая часто приходит мне на ум и кажется небесполезной. Она относится не к одной лишь форме проповеди, а к той стороне, с которой она подходит к человеческому уму и стремится его убедить. Всякую Божью реальность мы можем узнать в её красоте, праведности или полезности. Например, в Божьей

справедливости я могу видеть её абсолютную красоту, благоговеть перед ней как совершенным выражением совершенной природы, желать приблизиться к ней как к самому величественному во вселенной, любить её исключительно ради неё самой. Или меня могут всецело захватить её отношения с моей собственной нравственной природой. Она может впечатлять меня не столько как Божье качество, сколько как связь между Божьей жизнью и моей. Она может наполнить меня сознанием греха, дать осознать искушение и взволновать глубины нравственной борьбы в моей жизни. Или, наконец, я могу сознать эту справедливость как упорядочивающую силу вселенной, увидеть, как согласие с ней означает мир и благополучие от центра до краёв этого огромного строя. Я могу радоваться ей не за то, что она есть, а за то, что она делает. Из этих трёх представлений о Божьей справедливости одно обращается к душе и её интуитивному чувству вечной соразмерности, второе — к совести и её знанию добра и зла, третье — к практическому чутью с его любовью к видимому достижению. Здесь перед нами намечаются три разные проповеди. Весть, которую мы должны принести, одна и та же; но мы подносим её к трём различным дверям одной человеческой природы, в которую она хочет войти. Один проповедник чаще принесёт свою весть к одной двери, обращаясь в проповедях преимущественно к душе, либо к совести, либо к практическому чувству. У одной общины или одного поколения одна дверь будет открыта шире остальных: обстоятельства в чём-то делают их доступнее с этой стороны. Здесь свободное пространство для личных различий людей внутри великого единства замысла проповеди. Среди великих французских проповедников всегда проводили явное различие, очень близкое к только

что обозначенному. Массильон — истолкователь религиозного чувства, говорящий сердцу. Боссюэ — проповедник догмата, обращающийся к совести. Бурдалу — проповедник нравственности, обращающийся к разуму. Любая из этих проповедей может быть истолковательной или тематической. Все они способны принести людям Христа в одном из Его служений — Священника, Пророка или Царя. Каждая способна соединиться с другой. Между ними нет такого разграничения, чтобы мы не могли иногда найти великую проповедь, где все три встречаются и где Христос полно представлен как утоление любящего сердца, как обличитель и наставник пробудившейся совести и как надежда и вдохновение трудящегося человечества. По широте вашей собственной христианской жизни будет и способность проповедовать эту самую широкую проповедь. Только прошу помнить, сколь разными путями проповеди могут быть вестями Господа. Пусть это спасёт вас от однообразной узости одной вечно повторяемой проповеди. И, что гораздо важнее, пусть удержит от дерзости с жестокой легковесностью говорить о брате, который подносит весть к иной двери человечества, чем вы, будто он «не проповедует Христа».

21 Лучшая проповедь всякой эпохи — лучшее выражение этой эпохи. Более чем самое остроумное изобретение или самое искусно устроенное правление она обнаруживает достигнутый ею уровень. Так же, думаю, лучшая проповедь человека — лучшее выражение его жизни. Она воплощает и раскрывает его. Если она действительно его, она рассказывает о нём больше, чем случайное общение с друзьями или даже откровения домашней жизни. Если это действительно Божья весть через него, она проявляет его так, как не может никакое другое переживание: как

свойства трубы яснее обнаруживаются, когда сильный человек трубит в неё боевой призыв, чем когда ребёнок дует в неё играючи. Помните это, испытайте на себе, а затем, слыша проповедь брата, чтите совершаемый им труд и слушайте со всем возможным благоговением, чтобы услышать через него Божий голос. Говорят, что собратья-служители — самые придирчивые и наименее отзывчивые слушатели. Я такими их не находил. Я всегда находил их наиболее исполненными сочувствия. Если бы одно лишь знакомство с подробностями труда делало их менее готовыми чувствовать его дух и подчиняться его силе, это было бы им в большой укор и вызывало бы серьёзные сомнения в их труде. Это не так. Не начинайте с предположения, что это так, — и не обнаружите этого.

22 Мне хотелось бы посвятить часть оставшегося сегодня времени нескольким мыслям об истинных предметах проповедей. Несколько минут назад я употребил выражение «проповедовать Христа»; и, без пустословия, именно Христа мы должны проповедовать. Но что есть Христос? «Спасительная сила мира», — говорим мы. Куда же должна простираться Его сила? Всюду, где люди неправы; всюду, где они способны стать лучше; всюду, где Его власть и любовь могут их улучшить. Куда распространилось изобилие греха, туда должно прийти изобилие благодати. Туда мы с вами как служители благодати обязаны её нести. Признаюсь, уже при первом выражении это представление о Христе открывает передо мной, кажется, безграничный круг предметов, которыми проповедник обязан и вправе заниматься.

23 Но перейдём к подробностям. Сегодня мы много слышим о том, как желательно, чтобы кафедра — отчасти потому, что она уже сила, а отчасти чтобы стать ею

полнее, — прямее, чем теперь, занималась особыми условиями времени, особыми пороками и особыми нуждами наших дней. Нас убеждают, что от проповедников следовало бы чаще слышать о верном употреблении богатства, о расточительности общества, о нечистоте и распущенности, о повсеместном недостатке основательности в нашей торопливой жизни, о политической продажности и дурном управлении. Я считаю это требование совершенно справедливым. Полагаю, никакая сильная кафедра никогда не держалась в стороне от нравственной жизни общества, в котором находилась. Между тем практика многих проповедников и теория некоторых из них хотели бы обособить нашу кафедру и ограничить её весть тем, что ошибочно выделяют как духовные предметы. Однако, всем сердцем и даже с воодушевлением утверждая необходимость интереса кафедры к нравственным условиям дня, я хочу предложить одно-два соображения. Первое: нигде не следует принимать личные различия служителей во внимание больше, чем здесь. Одни умы работают отвлечённо, другие конкретно. Один человек видит грех как страшное, всепроникающее духовное присутствие; другой не узнаёт греха, пока не увидит его воплощённым в отдельном порочном поступке, который кто-то совершает здесь, в его городе. Один признаёт святость как невидимый дух; для другого святость неопределённа, но добрые дела вызывают воодушевление, радость и желание подражать. Ни один не должен требовать, чтобы другой проповедовал в точности его способом. Первый не должен называть второго «простым моралистом»; второй не должен отвечать обвинителю названием пиетиста. Признавая, что проповедник обязан выступать против конкретных грехов вокруг себя, нельзя утверждать, будто

всякого проповедника, каков бы ни был характер его дарования, следует понукать и принуждать именно к этому. Для нас хорошо, чтобы некоторые проповедовали так, как было бы нехорошо проповедовать всем: об истине в её чистой, неизменной сущности и о долге в его первоначальном замысле, когда он выходит ещё неразделённым потоком из источника Божьей воли.

[24] Но ещё важнее способ, которым кафедра должна подходить к темам времени. Мне кажется, он заключён — если мы сумеем его там найти — в совершенно обычном и знакомом утверждении: видимые нравственные условия любой жизни или любой эпохи лишь симптомы духовных условий, которые и составляют сущность. Но каковы смысл и ценность симптома? Не двояки ли они? Во-первых, симптом ценен как признак и проверка внутренних процессов, недоступных прямому наблюдению. Во-вторых, он имеет ценность по закону обратного действия: разумное ограничение, приложенное к следствию, часто может ослабить причину и помочь её уничтожить. Как же обращаться с симптомами? Всегда соотнося их с невидимыми условиями, которые они обнаруживают. Их следует исследовать как признаки того, каковы эти условия; воздействовать же на них — не ради них самих, а в надежде достигнуть стоящих за ними условий. Применим всё это. Мы с вами проповедники среди развращённого общества. Вокруг распространены всевозможные злые дела. Мы знаем — это первая истина проповедуемой нами религии, — что эти злые дела не составляют подлинного, существенного зла. Наш взор всегда прикован к сердцу, отчуждённому от Бога, к душе, сбившейся с пути, к невидимым пружинам человеческой природы, пришедшим в расстройство; и мы знаем, что лекарство применимо только к ним. Что же нам делать с

дурными поступками, в которых мы видим лишь внешние, видимые знаки внутреннего, духовного бесчестия? Именно то, что я сказал выше. Во-первых, честно обращаться с ними как с признаками; честно признавать, что, пока и где они существуют, духовное состояние нездорово; откровенно признавать о всяком человеке — что бы он ни заявлял о своих эмоциональных переживаниях, во что бы ни верил, что бы ни «чувствовал», — что, если он делает дурное, он не добрый человек. Так охотно отдавайте духовные процессы, о которых проповедуете, на суд всех, кто отличает добрую жизнь от дурной. Во-вторых, всегда поражайте симптом ради самой болезни. Направляйте удар против всех видов порочных поступков. Обличайте нечестность, распущенность, пьянство, жестокость, расточительность, но всегда действуйте ради души, к которой вы посланы и долю попечения о которой вверил вам ваш Господин. Никогда не позволяйте людям чувствовать, будто вы и ваше Евангелие удовлетворитесь одной благопристойностью, подавлением всей порочной жизни, за которым порочный характер сохранил бы полную силу. Несомненно, такой протест против порока должен быть гораздо более серьёзным, бескомпромиссным и самоотверженным, чем протест, действующий по более низким побуждениям и видящий меньше. Он не может идти на уступки. Он одинаково поражает все пороки. Он не станет просто менять один порок на другой. Его ненависть к порокам будет тем глубже, чем глубже он осознаёт грех.[3]

[25] Не описывают ли эти два способа обращения со всеми симптомами истинное отношение христианского проповедника к окружающим его явным порочным делам? Понимая их так, он не становится ни отвлечённым

религиозным деятелем, занятым выращиванием определённых духовных состояний и не заботящимся о том, как они показывают свою ценность или ничтожность в порождаемой ими нравственной жизни; ни просвещённым устроителем общественного хозяйства, который с тревогой взвешивает зло отдельных грехов, но ничего не знает о греховности того греха, из которого они происходят. Он всегда вестник Христа к человеческой душе. Его проповедь о трезвости, о недавних выборах или о зле угнетения — не исключение и не вторжение в поток проповедования, всегда свидетельствующего о духовном спасении. Он готов говорить на любую тему дня, но его проповедь едва ли примут за статью из ежедневной газеты. Она смотрит на предмет с более высокой высоты, прослеживает беду до более глубокого источника и удовлетворяется лишь более основательным исцелением. Я не знаю иных начал, кроме этих, которые можно было бы применить к несколько спорному вопросу политической проповеди. Эти представляются мне достаточными. Я презираю и призываю вас презирать все слабые утверждения, будто служителю нельзя проповедовать о политике, потому что это повредит его влиянию или недостойно его священного звания. Влиянию, нуждающемуся в такой охране, можно спокойно дать умереть; а чем священнее звание проповедника, тем больше он обязан заботиться обо всех интересах каждого Божьего дитяти. Но примените изложенные мною начала — и, думаю, мы получим лучшее правило. Видьте в политическом положении указание на духовное состояние народа и во всём, что говорите об общественных делах, стремитесь не просто обеспечить порядок и мир, а воспитать добрых людей, которые составят «святой народ». Первое следствие

применения этих начал будет в том, что лишь истинный нравственный вопрос вызовет ваше слово. Вы не превратите кафедру в место, откуда можно предлагать свою маленькую схему разрешения партийной ссоры или обеспечения партийной победы. Но когда возникает ясный вопрос добра и зла, а люди под действием сильной страсти или корыстного интереса идут неверно, ваша проповедь бедна и несвоевременна, если занимается только отвлечённостями вечности и не имеет ни слова помощи людям, оглушённым вихрем и ослеплённым тьмой сегодняшнего дня. Хорошо было быть служителем во время войны против мятежа. Ясный, сильный нравственный вопрос стоял совершенно открыто, и долг проповедника был очерчен столь же резко, как долг солдата. Теперь дело не так ясно. Обычно так и не будет. И всё же привычные разговоры о том, что у служителей нет никакой силы в политике, неверны. В такой стране, как наша, где общий настрой народа имеет огромное значение в общественных делах, проповедники, столь многое делающие для его создания, всегда должны иметь свою долю участия в политике.[4]

[26] Я завершаю лекцию тремя замечаниями, на которых намеревался остановиться подробно, но всё время уже истратил.

[27] Вы никогда не сделаете проповедь такой, какой она должна быть, если рассматриваете её отдельно. Сопровождающее её богослужение, молитва и хвала должны влиять на неё.

[28] Проповедь никогда не должна устанавливать мерку, к которой людям не предполагается всерьёз стремиться в жизни.

[29] Никакую проповедь собственным людям нельзя задумать так, словно она единственная. Она должна быть частью длительного воспитания, действуя совместно со всеми остальными.

[30] И всё же, несмотря на все эти определения и замечания, прошу вас уйти отсюда с убеждением, что замысел проповеди — вещь не сложная, а очень простая.

Лекция 5. Создание проповеди

[1] Сегодня я должен говорить с вами о создании проповеди; сравнив заглавия этой и прошлой лекций, вы увидите их отношение друг к другу: строение проповеди всегда должно всецело зависеть от её замысла. Замысел безусловно главенствует. Он — формирующая сила, перед которой должны склоняться все внешние обстоятельства. Если какое-либо правило композиции или формы противоречит замыслу, оно мятежно и должно быть принесено в жертву без всяких сомнений. Я слышал проповеди, где было очевидно, что какое-то самозваное правило формы восстало против существенного замысла, а замысел оказался недостаточно силён, чтобы подавить мятеж. В результате проповедь, словно страна в смуте восстания, не имела ни мира, ни силы. Поэтому сказанное сегодня подчинено сказанному прежде. Всякий закон исполнения, который я могу предложить и который окажется несовместимым с замыслом и целью проповеди, — незваный пришелец, его следует отстранить.

[2] Три начала определяют построение каждой отдельной проповеди: проповедник, материал и слушатели; как характер всякой битвы определяется тремя началами — орудием вместе с артиллеристом, боеприпасом и крепостью, против которой направлено нападение. Причина, по которой проповедь, произнесённая в прошлое воскресенье в Латеранской базилике Святого Иоанна в Риме, отличалась от проповеди в Первой конгрегационалистской церкви Нью-Хейвена, должна заключаться отчасти в том, что проповедник был человеком иного склада, отчасти — что иной была истина, которую он хотел проповедовать, отчасти — что иным, по

крайней мере в его представлении, был человек, которого он желал затронуть и на которого хотел повлиять. Сделайте эти три начала совершенно одинаковыми — и все проповеди окажутся совершенно тождественными. Именно потому, что они никогда не бывают совершенно одинаковы, но между ними всегда есть действительное сходство, все проповеди отличаются друг от друга и всё же сквозь все проходит некоторая общность. Нет двух людей совершенно одинаковых, одинаково мыслящих об истине или видящих своих слушателей в одном свете. Поэтому построение проповедей каждого человека должно отличаться от построения проповедей всякого другого. Более того, можно пойти дальше. Ни один живой человек в данное мгновение не вполне тот же, каким был в другое; он не всегда одинаково видит истину, и люди не всегда выглядят для него одинаково. Поэтому в его проповедях должна быть та же общая тождественность, соединённая с постоянным разнообразием, что и в его жизни. Все его проповеди будут похожи и всё же не похожи друг на друга. А создание каждой, хотя и может следовать одним общим правилам, будет свежим и живым процессом, с увлечением и свободой новизны. Это первое, что я хочу сказать. Утвердите эту истину в уме — и придёт независимость. Тогда вы сможете верно относиться к правилам составления проповедей, вырастающим из чужого опыта: принимать их как полезных друзей, а не высокомерных господ. Как хотелось бы, чтобы не только в написании проповедей, но и во всей жизни мы поняли: независимость и отказ подражать и повторять чужую жизнь могут происходить из истинной скромности так же, как из гордости. Быть независимым от людского диктата — просто объявить, что мы должны жить особой жизнью, намеченной для нас Богом и указанной в особых силах,

которые открываем в себе. Ни к какой иной жизни мы не пригодны. Ничего скромнее этого быть не может. Не гордость заставляет бук отказаться копировать дуб. Он знает свои пределы. Единственная возможность здоровой жизни для него — быть буком во всей доступной полноте. Примените всё это к себе и из одной скромности откажитесь пытаться быть проповедником такого рода, для которого Бог вас не создал.

[3] Недостаток гибкости у проповедника, приводящий к недостатку разнообразия проповеди, во многом связан с несовершенством нашего образования. Подлинный его результат — развить в личности то, о чём я говорил: ясное сознание собственного тождества вместе с широким разнообразием. Действительно образованный человек всегда будет отчётливо собой и всё же никогда не будет в точности тем же, каким был в другое мгновение. Его личность будет воспитана и в устойчивости своего центрального ствола, и в восприимчивости и отзывчивости к разнообразным впечатлениям. У него одновременно будут более твёрдая опора и более широкий простор характера. Необразованный человек, напротив, либо однообразно и упрямо остаётся тем же, либо исполнен непостоянных перемен. Недостатки нашего образования видны в том, что оно порой производит узкого, упрямого специалиста, порой — неопределённого, слабого любителя многих занятий, но нечасто — сильного человека с ясной индивидуальностью и широким кругом сочувствия и действия. А именно таким более всех должен быть проповедник. Одно лишь образование, основательное образование, лишь подлинная, мудрая, преданная учёба способны сделать его таким. Только образование даёт человеку одновременно хорошую опору и хороший обзор. Это

французское правило фехтования: «Bon pied, bon œil» — крепкая нога и зоркий глаз. Приступая к разговору о литературном стиле и гомилетическом построении, я не могу ещё раз не напомнить о необходимости упорной и мужественной учёбы: не просто изучения самого языка и стиля, а учёбы в более широком смысле — изучения истины, истории, философии. Ведь богатство ума не может не влиять на стиль письма и речи, делая его всецело собственным и одновременно придавая разнообразие и сохраняя от однообразия. Полагаю, сила такого необразованного человека, как мистер Муди, отчасти подрывает среди служителей признание необходимости учёбы и искушает людей полагаться на непосредственность и вдохновение. Я чту мистера Муди и радуюсь многому из того, что он делает; но, если его успех действительно имеет такое последствие, это весьма серьёзно уменьшает его ценность. Видя подобного человека, следует учитывать и его исключительность, и его пределы. В некоторых отношениях он очень замечателен и необычен, поэтому обычным людям нельзя выводить из него правило. А его труд, сколь бы ценным ни был, останавливается у ясной границы. Он оставляет несделанным то, что может выполнить лишь образованное служение; и тот, кто больше всех исполнен благодарности и восхищения его путём, должен тем усерднее обратиться к книгам, стараясь стать проповедником, способным помочь завершить дело, которое великий деятель пробуждения начинает.

[4] Итак, стиль проповедей каждого проповедника должен быть его собственным: вот первое начало их создания. «Стиль — это человек», — сказал Бюффон. Только следует помнить, что человек не есть нечто неизменное. Он способен совершенствоваться. Наполненный знанием,

любовью и воодушевлением, он отличается от себя прежнего, ещё пустого. Поэтому практический вывод из первого начала состоит не просто в том, чтобы каждый проповедник принял себя таким, каким находит, и не надеялся ни на что лучшее. Скорее он таков: стиль способен к беспредельному развитию, но главное его развитие должно происходить через развитие самого человека. Не через одну лишь критическую обработку языка, которая в лучшем случае даёт правильность, а через возвышение всего человека к более щедрой и высокой жизни — единственному, что может сделать стиль истинно благородным. В самом деле, вопрос о том, в чём сила проповеднического стиля, в значительной мере соответствует вопросу о богодухновенности Писаний. Существовали разные представления о том, где заключено качество Библии, заставляющее отделять её от других книг и называть вдохновенной. Одно представление помещает вдохновение в язык и предполагает, что каждое слово продиктовано Святым Духом. Другое помещает его в писателя и, исходя из более глубокой философии, предполагает, что силой возвышенного и правдивого высказывания была правдивая и возвышенная душа. Третье помещает его в материал. Сама история была полна Бога, и, когда люди записывали эту исполненную Бога историю, их писания отличались от писаний других: были полнее Божественной атмосферы из-за необычного Божественного характера описываемых вещей. Так и проповедь выходит особенной. В чём её особенность? В том ли, что ей принадлежит определённый язык, определённые речевые формы, не принадлежащие другой литературе? В том ли, что пишущий проповедь находится в состоянии и положении, которых никто другой в

точности не принимает? В том ли, что предметы проповеди торжественнее, трогательнее, Божественнее всех других? Несомненно, все три представления в своей мере истинны. Но столь же несомненно, что ищущий в этом деле самой глубокой истины обретёт и более глубокую силу. Стремящийся к силе истины и характера будет сильнее того, кто пытается победить отделкой и совершенством языка.

[5] История отдельной проповеди начинается с выбора темы. Обычно, кроме чисто истолковательной проповеди, этот выбор предшествует выбору текста. Его лёгкость и быстрота зависят от богатства собственной жизни человека и естественности его представления о проповеди. Я могу представить лишь две причины, по которым проповеднику могло бы недоставать тем для проповеди. Первая — бесплодие собственного ума; вторая — напыщенное и неестественное представление о том, какой должна быть предстоящая проповедь. Пусть ум человека занят чем угодно, кроме Божьих вещей; пусть духовная жизнь скудна и ничего не подсказывает; пусть он не чувствует развивающей силы в собственном опыте, — и я вижу, как он сидит в отчаянии или мечется в смятении, когда приближается день, в который необходимо о чём-то говорить, а говорить не о чем. Или пусть он усвоит мысль, что каждая проповедь либо какая-то особенная должна быть великой, «кафедральным свершением», как гласит это ужасное выражение, — и он опять совершенно потерян. Какая из спокойных, простых, практических тем, предлагающих себя, годится для того, чтобы выдержать притязания и извивы его красноречия? О первой трудности я больше не говорю лишь потому, что, кажется, говорил с вами только о необходимости человека за каждой проповедью; хотя я действительно

считаю это самым важным, почти сказал — единственно важным, в обучении проповеди. Но сейчас больше об этом не скажу. На другой трудности остановлюсь ненадолго. Представление о великой проповеди, постоянно или временами преследующее проповедника, губительно. Оно, как я сказал, стесняет свободу выражения. Многие истинные и полезные слова, нужные вашим людям и должные быть сказанными, покажутся недостойными величия вашей великой речи. Какой-нибудь бедный увещатель, пришедший на следующей неделе и сказавший их, выметет из людской памяти последнее воспоминание о вашем себялюбивом достижении. Никогда не терпите такого представления о достоинстве проповеди, которое не позволяет сказать в ней что-либо должное для вас или необходимое для слуха ваших людей. Это такое же безумие, как сделать кресло настолько нарядным, что не смеешь на него сесть. В жизни каждого живого служителя будут великие или по крайней мере более великие проповеди, заметно превосходящие обычный труд силой и красотой; но они придут без намеренного расчёта, как цветы служения, как плоды мгновений, в которых силы были наиболее деятельны, а сам человек меньше всего думал об эффекте. Хорошо и ободряюще видеть, как неизменно проваливается намеренная попытка создать великие проповеди: это поддерживает веру в человеческую природу и помогает удержаться от обычных безумств кафедры. Такие проповеди никогда не обладают желаемым влиянием и очень редко получают желаемые похвалы. Проповеди, о которых никто не говорит; проповеди, идущие из ума и сердца к сердцу и уму с как можно меньшим сознанием языка и уха, — вот те, что совершают дело, делают людей лучше и действительно проникают в их привязанности.

Они подобны совершенным дням, когда никто не говорит: «Как прекрасно!», — но каждый делает свою лучшую работу и полнее всего чувствует, какое благословение — жить.

[6] Думаю также, что это неверное представление о проповедях породило немало дурных разговоров, ходящих ныне и среди духовенства, и среди мирян о чрезмерном количестве проповеди. «Как возможно, — говорят они, — чтобы человек каждую неделю создавал две сильные, хорошие проповеди? Это невозможно. Пусть каждое воскресенье будет лишь одна; а если люди упорно хотят приходить в церковь дважды, обманем их небольшим количеством плохой музыки и „несколькими замечаниями“, назвав это „вечерним богослужением“, или расскажем несколько историй воскресной школе и назовём это „детской церковью“. Но не будем дважды проповедовать мужчинам и женщинам. Это невозможно». Да, невозможно, если под проповедью вы разумеете законченную ораторскую речь. Создавать её дважды в неделю столь же невозможно, сколь нежелательно создавать её раз в неделю. Но чтобы человек, живущий с Богом, находящий радость в изучении Божьих слов в Библии, мире, истории, человеческой природе, каждый день думающий о Христе, человеке и спасении, — чтобы он не мог дважды в неделю по полчаса серьёзно, с любовью, вдумчиво и просто говорить об этих сердечных предметах, — это немыслимо, и я этому не верю. Сбросьте гнетущий кошмар представления о великих проповедях. Заботьтесь не о проповеди, а об истине и о своих людях; тогда темы будут возникать со всех сторон, и возможностей проповедовать о них окажется слишком мало. Прошу вас не впадать в эти глупые разговоры о чрезмерной проповеди. Не нам, служителям, говорить,

что более одной речи в день не нужно. Если вам есть что сказать и вы говорите смело и просто, люди придут слушать. Если вы будете проповедовать на втором богослужении столь же верно и вдумчиво, как на первом, второе не опустеет. Во всяком случае, наше дело — оставаться у кафедры, пока люди нас не оставят, а не закрывать церковные двери ради спасения собственной репутации, когда они ещё готовы приходить и слушать.

[7] Но вернёмся ближе к предмету. Определив в целом, о чём можно проповедовать, как выбрать тему одной проповеди — на следующее воскресенье? Я отвечу: три начала вправе участвовать в решении. Это склонность самого проповедника, соразмерность и «масштаб» всего его проповедования и особые нужды его людей. Я называю их в порядке, в каком они обычно предстают перед служителем при выборе. Переверните порядок, начните с последнего — и получите начала верного выбора в правильной последовательности. Первым идёт сочувственное и мудрое понимание того, что нужно людям; не обязательно того, чего они сознательно хотят, хотя, помните, столь же необязательно того, чего они не хотят. Это понимание — не внезапный итог впечатления от оживлённого разговора во время приходского посещения и не желание опровергнуть придирку одного капризного спорщика. Это совокупный плод широкого, сочувственного общения, истинного знания человеческой природы в соединении с особым знанием именно этих людей и сердечным интересом к обстоятельствам их жизни. Очевидно, такое понимание нелегко приобрести. Оно требует от служителя той чуткости к текущему моменту и той широты, которые очень трудно найти вместе. Его нельзя просто подобрать в непринуждённой близости приходских посещений. Там ему можно помочь,

но родиться оно должно в бодрствующем уме, всецело интересующемся своим временем, и в благочестивой душе, действительно любящей души, с которыми ей приходится иметь дело.

[8] Второе начало выбора — желание сохранить соразмерность и пропорции нашей проповеди — естественно, изменяет действие первого. Тема следующего воскресенья должна избираться не только по нынешнему пониманию нужд людей, но и в отношении ко всему замыслу нашего наставления, к тому, что было прежде и что последует. В другой лекции я уже указал, какой большой помощью здесь служит древний календарь церковного года. Продолжительный, связный ряд проповедей предохраняет от простой переменчивости и односторонности выбора тем. Единственная серьёзная опасность такого ряда в том, что, когда змей становится слишком длинным, трудно распределить жизненность по всей его длине, до самого последнего конца. Слишком многие циклы начинаются очень живой головой, которая со временем тащит за собой совершенно безжизненный хвост. Голова прыгает, хвост ползёт, и животное движется без всякой грации. Думаю, заранее установленный и официально объявленный цикл очень редко сохраняет и соразмерность, и интерес. Система длинных циклов склонна обеспечивать пропорцию слишком высокой ценой непосредственности. Единственное надёжное средство достигнуть результата — упорядоченность в уме проповедника: понимание христианской истины как системы, а христианской жизни — как постоянного движения всей природы человека через Христа к Отцу.

[9] Затем приходит третье начало, управляющее выбором: человек лучше всего может проповедовать о том, о чём в

данное мгновение хочет проповедовать, — начало собственного расположения проповедника. Вы видите, почему его нельзя ставить первым. Я мог бы назвать кафедры, которые согрешили и потерпели неудачу, сделав его первым. Но вы видите и то, почему оно должно присутствовать хотя бы третьим. Оно даёт двум другим свежесть, радость и внутренний порыв. Невозможно представить, чтобы люди с удовольствием и живостью слушали проповедь на тему, о которой, как им известно, служитель считает нужным им сказать и полагает, что время для неё пришло, если они одновременно знают: самому она неинтересна и проповедовать на неё он не хочет.

10 Личный интерес проповедника — воздух, который наполняет всю эту массу и придаёт ей подъёмную силу.

11 Итак, эти три соображения определяют тему проповеди. Очевидно, ни одно не достаточно само по себе. Проповедь, произносимая лишь с учётом людских нужд, тяжела. Проповедь ради соразмерности формальна. Проповедь, учитывающая только желание проповедника, причудлива. Постоянное внимание ко всем трём делает проповедование всегда сильным и всегда свежим. Когда все три настойчиво сходятся в выборе темы особой проповеди, я не вижу, почему бы нам не готовить её в торжественном воодушевлении, с уверенностью, что Божья воля — проповедовать именно на эту тему именно тогда; а написав, не выйти с ней в воскресенье на кафедру, объявляя почти с уверенностью одного из древних пророков: «И было ко мне слово Господне, говорящее».

12 Добавлю: встреча этих различных начал выбора яснее всего, когда выбор наиболее обдуман. Всегда держите

тему проповеди в уме как можно дольше до начала её подготовки. Что бы ещё ни было поспешным и неподготовленным, пусть таким не будет решение, о чём проповедовать.

[13] Когда предмет выбран, начинается особая подготовка к проповеди. Она должна состоять преимущественно в собирании, расположении и освещении знания о предмете и мыслей о нём, которыми проповедник уже обладал. Думаю, чем меньше особой подготовки требуется для проповеди, тем она лучше. Наилучшей была бы та, все мысли которой, хотя тщательно расположены и освещены любыми пояснениями, способными прояснить их для этого особого случая, — мысли давние, знакомые уму проповедника и уже давно составляющие часть его опыта. Здесь, как видите, намечается ясное и важное различие между двумя типами проповедников. Один зависит в каждой проповеди от специально подобранного чтения. Каждая речь — результат труда той недели, когда она написана. Вся его учёба относится к немедленно наступающему случаю. Другой учится и думает гораздо усерднее, постоянно собирает истину в уме, но собирает её не ради следующей проповеди. Это истина, искомая ради неё самой и ради той широты, зрелости и полноты характера, которые одни могут сделать его сильным проповедником. Какой способ лучше? Несомненно, второй. Во-первых, человек, живущий такой подготовкой к отдельным случаям, всегда незрел; он постоянно искушается подхватить какую-нибудь наполовину обдуманную мысль, поразившую его в спешке чтения, внезапно её усвоить и представить людям как подлинное убеждение. Старые проповеди многих служителей усеяны идеями, которых они никогда не держались, но которые однажды держали

их целую неделю, — словно стоянками в чужих лесах, где бродячий охотник переночевал одну ночь. Всякий может видеть расплывчатость и фальшь, ослабление существенной святости убеждения, неизбежные после многих лет такого труда. Во-вторых, непосредственную подготовку к проповеди люди всегда чувствуют. Они знают различие между проповедью, наскоро набитой материалом, и проповедью, продуманной задолго до того, в которой новы лишь форма, поясняющие образы, особое развитие и приложение мысли. Некоторые проповедники всегда проповедуют последнюю прочитанную книгу, и общины всегда это замечают. Ощущение поверхностности и скудости пристаёт ко всему, что они делают. Толкование места, о котором человек никогда не думал, пока не начал на него проповедовать, может быть искусным и богатым намёками, но не внушает доверия. Я не опираюсь на него даже с той уверенностью, какую вызвало бы тщательное изучение того же человека. Оно приготовлено к случаю. Оно похоже на мнение политика перед выборами. Но сильнейшее основание для излагаемого правила исходит из самой природы проповеди, о которой я столько говорил. Проповедь — это истина и человек вместе, истина, принесённая через человека. Личностное начало существенно. Истина, которую проповедник собрал в пятницу для воскресной проповеди, пересеклась с человеком, но не прошла через него. Она никогда не вошла в ткань его опыта. Она не несёт ни веса, ни крыльев его личной жизни. Если она истинна, мы получаем истину книги, а не истину человека. Полной, настоящей проповеди из этого не получается.

[14] Если это представление верно, отсюда следует, что жизнь проповедника должна быть жизнью обширного

накопления. Ему следует не постоянно пытаться составлять проповеди, а постоянно искать истину; из добытой истины проповеди будут складываться сами. Я помню, как до начала проповеди каждая прочитанная книга словно сама превращалась в проповедь. Казалось, нельзя ничего прочесть, не сев тотчас превращать это в речь. Но когда я начал и продолжил проповедовать, проповеди, родившиеся из отдельных книг, становились всё менее удовлетворительными и всё более редкими. Лучшую проповедь рождает давно известная истина, приведённая в особую деятельность каким-нибудь событием или соприкосновением с другим умом; как лучший обед возникает не из поспешного набега к поставщику готовой еды, а из запасов постоянно хорошо снабжаемого дома. Постоянные цитаты в проповедях, думаю, — признак той же незрелости. Они обнаруживают непереваренное знание. Они теряют силу личности. Они обмазывают стену непрочным раствором. Вот зачем нужна широкая и щедрая образованность. Учитесь изучать ради истины, учитесь мыслить ради пользы и радости мысли. Тогда ваша проповедь станет подобна бьющей струе источника, а не качанию насоса.

[15] Вот уже более шестисот лет почти неизменный обычай христианских проповедников — брать текст из Писания и более или менее тесно связывать с ним свои мысли. В первые двенадцать христианских столетий, по-видимому, такой господствующей привычки не было. Об этом следует помнить всякий раз, когда обычай брать текст начинает притязать на деспотическую власть или как-либо ограничивать свободу пророчествования. В наши дни несомненно, что присущее нашему времени изменение взгляда на Библию повлияло на наше отношение к отдельным текстам и обращение с ними.

Единство Библии, связь её частей, её органическая жизнь, существенность каждой части и всё же отчётливое различие ценности и достоинства отдельных частей — теперь привычные представления, какими они ещё несколько лет назад не были. Было время, когда для многих Библия представлялась не только собранием разных книг, одинаково являющихся Божьим словом и одинаково полезных людям, но и последовательностью стихов, одинаково истинных, назидательных и живых Евангелием. Страница, наугад вырванная из Библии и занесённая ветром на какой-нибудь дикий остров, казалась содержащей некую силу спасения. Следствием такого чувства, конечно, было облечение отдельного текста самостоятельной святостью и смыслом. Почти не имело значения, из какой части Библии он взят. По Песни Соломона и Евангелию святого Иоанна проповедовали так, словно они учат одной истине с одинаковой властью. Циничного автора Екклесиаста заставляли возвещать ту же весть, что исполненного надежды и веры святого Павла. Здесь не место перечислять причины перемены, оценивать её пользу или опасности. Если рассматривать лишь то, как она повлияла на отношение проповедника к Библии, думаю, улучшение несомненно. Отдельный текст стал менее значимым. Люди захотели войти в сердце и дух Библии. Библейское изучение стало состоять не во взвешивании текста против текста, а в оценке великих потоков направленности, в следовании великим линиям мысли, в постижении духа великих духовных мыслителей, имевших «ум Христов». Отдельный стих уже не похож на драгоценный камень, вставленный в стену, который можно вынуть и унести как самостоятельную вещь. Это окно, через которое можно посмотреть сквозь стену и увидеть заключённое внутри богатство. Вынутый со

своего места, он не имеет ценности. Всецело войти в дух этого нового, лучшего отношения к Библии — по-моему, всё, что требуется проповеднику для руководства в выборе и употреблении текстов. Пусть они всегда будут окнами. Подойдите, взгляните сквозь них, а затем расскажите людям, что видите. Сохраняйте их на своих местах в стене истины. Я не сказал бы, что пользоваться ими нехорошо, хотя истинные проповеди, конечно, возможны и без них. Они подобны золотым гвоздям, прикрепляющим нашу проповедь к Библии. Неважно, вырастает ли тема из текста как изложение Божественной мысли, лежащей в основе какого-либо события Писания, или текст вырастает из темы как описание события, поясняющего Божественную мысль. Есть оба вида проповедей, и оба хороши. Только одно правило не допускает исключений: пусть обращение с текстами будет истинным. Никогда не заставляйте их значить то, чего они не значат. Во имя и вкуса, и благоговения пусть не будет ни натяжек, ни игры словами, ни такого обращения с Божьим словом, какое было бы оскорбительным в отношении слова любого друга. В руках многих христианских проповедников Библия претерпела то же, что претерпевает от своего поклонника деревянная колода, избранная дикарём в идолы. Сам выбор, освящающий её как более священную, чем другие колоды, одновременно обрекает её на то, чтобы на ней нарисовали и вырезали все его уродливые фантазии и причудливые выдумки. Это самая священная и самая безобразная колода в деревне. Так и святость Библии подвергла её обращению, которого не испытала ни одна другая книга. Столь причудливый и неблагоговейный способ выражать благоговение длился слишком долго. Пора его прекратить. Прошу вас сделать

для этого всё, что можете. По крайней мере пусть ваше собственное обращение с Библией будет благоговейным и верным. Никогда не извлекайте из текста смысл, которого, как вы знаете, там нет. Если в вашем тексте нет вашей истины, найдите другой, где она есть. Если не можете найти для неё никакого текста в Библии, проповедуйте о чём-нибудь другом.[5]

[16] Перехожу к нескольким замечаниям — лишь указаниям — о стиле проповедей. Содержание будет управлять стилем, если тот свободен. Цель всякого воспитания стиля — сделать его настолько простым и гибким органом, чтобы через него движущаяся и меняющаяся мысль могла выражаться свободно. Я жалею человека, одинаково пишущего на все темы. Он явно раб самого себя. Быть собой и при этом не находиться во власти собственного образа, которому непрерывно стараешься соответствовать, — вот тайна стиля одновременно своеобразного и свободного. Я иду слушать проповедника с особенно собственным стилем и очень часто обнаруживаю, что он раб своих особенностей. Он не должен думать ничего, что нельзя высказать определённым способом. Настоящий стиль подобен доспеху из тончайшей кольчуги: настолько крепкому, что мысль может идти в нём в бой, и настолько гибкому, что стальные пальцы могут держать карандаш для самой тонкой живописи. Для приобретения такого стиля никакой труд не чрезмерен. Думаю, всякому служителю полезно писать что-нибудь кроме проповедей — книги, статьи, очерки, хотя бы письма, — при условии, что он владеет собой, остаётся проповедником и не превращается вместо того в литературного любителя. Если он умеет делать это правильно, оно освобождает его от тирании самого себя и сохраняет соприкосновение с

более широкими мерками. Некоторые из самых благородных наших мыслителей не достигают действия из-за отсутствия органа выражения — свободного кафедрального стиля. Их беда часто в том, что они никогда не писали ничего, кроме проповедей. В сущности, не думаю, что существует нечто такое, как собственно проповеднический стиль. Человеку, умеющему хорошо писать другое, дайте душу, цель и знание проповедника — и он напишет хорошую проповедь. Но не умеющий хорошо писать ничего не может хорошо написать проповедь, хотя мы часто думаем, что может. Для человека без литературного умения все предметы одинаковы. Если вы не умеете плавать, неважно, двадцать футов воды под вами или сорок.

17 Одним словом, я сказал бы: приобретайте лёгкость выражения там, где можете, хотя бы отчасти вне написания проповедей. Делайте стиль своеобразным и сильным, никогда не пиша без того, что действительно хотите сказать; затем позволяйте переменам вашей истины свободно действовать внутри него и формировать его особые формы. Стиль, действительно принадлежащий человеку, будет расти, пока растёт он сам. Одна из лучших черт жизни Маколея — его убеждение, что как писатель он совершенствовался до конца. Это принадлежало той жизненности, которой были столь полны и человек, и его письмо.

18 Широта проповеднического письма делает его способным к таким разнообразным порокам, с какими не смеет соперничать никакой другой род сочинительства. Служитель может в одной проповеди согрешить и напыщенностью, и низостью, и преувеличением, и недостаточностью. Ему нужна многосторонняя

бдительность, а вернее — совершенно правдивая литературная природа, чтобы исполнить то, что Роджер Эшем столь своеобразно и выразительно сводит к следующему: «in Genere Sublimi to avoid Nimium, in Mediocri to atteyne Satis, in Humili to eschew Parum» — «в высоком роде избегать чрезмерного, в среднем достигать достаточного, в низком избегать скудного». Способ, который он советует для этого, — изучать Цицерона. Конечно, в более общем виде истинный путь таков: прежде узнать, для чего существует стиль, что он орудие, а не цель, а затем совершенствовать его как орудие всяким благородным знакомством и усердным упражнением.

[19] Невозможно говорить о стиле, не сказав об опасности подражания и способе от неё уберечься. Она связана с той личностностью проповеднического труда, о которой я столько говорил. Успешный проповедник не похож на успешного писателя. Через свой труд он сам выступает заметнее. Люди яснее сознают его и чувствуют в себе те же силы, которыми он достиг успеха. Один лишь законченный результат, какой писатель даёт в книге, не возбуждает желания подражать так, как вид процесса, происходящего перед нами в личном действии на кафедре. Поэтому у тех проповедников, в чьей силе больше всего личностного начала, больше всего подражателей. Есть сильные голоса, вопиющие в пустыне и наполняющие страну эхом. Есть проповедники, совершившие благородный труд, о которых мы нередко вынуждены спрашивать: больше ли в конечном счёте сделанное ими добро того вреда, который они невольно причинили, испортив в ходе работы столь многих людей? Они прошли через служение, как дикарь проходит через лес, отмечая путь зарубками на окружающих деревьях;

путешествуя по стране, можно точно определить, где они побывали, по оставленным интонациям и оборотам речи. Умирая, они оставляют после себя подражателей и в неприятном смысле «говорят и по смерти». Нередко круг влияния одного человека расширяется, всё более слабея, пока не встретится с волной, распространяющейся из другого центра, с другой популярной кафедры. Лишь там обе волны гасят друг друга, восстанавливается спокойствие и вновь утверждается свобода быть собой.

[20] Опасности подражания две: одна состоит в приобретении, другая — в утрате. Зло есть и в том, что вы получаете от того, кому подражаете, и в потере собственной особенной силы. Приобретаемое зло происходит из того, что худшее в человеке всегда легче всего копировать. А дух подражателя слеп. Он не способен различить подлинное местопребывание силы, которой восхищается. Он цепляется за какую-нибудь мелочь и вечно её повторяет, будто так можно приобрести существенное величие героя. В дневнике Маколея есть исполненное философии место. «Я просмотрел …, — говорит он. — Вижу, это мой подражатель. Но я весьма ненадёжный образец. Моя манера, как думаю я и как думает свет, в целом хороша, однако она очень близка к поистине дурной; и те отчётливые черты моего стиля, которые легче всего копируются, наиболее сомнительны». Всё это весьма верно относительно служителей. Едва ли у нас найдётся хороший кафедральный стиль, который не был бы очень близок к поистине дурному; самые заметные черты часто и самые сомнительные. Тупость подражателя удивительна. Помню, много лет назад я пошёл с умным другом слушать лекцию великого оратора. Речь была богата, вдумчива, пламенна и восхитительна. Когда мы уходили, спутник

мой казался задумчивым. Наконец он спросил: «Вы заметили, в чём его сила?» Я чувствовал себя неспособным мгновенно разобрать и подытожить такой сложный результат и кротко ответил: «Нет, а вы?» — «Да, — бойко ответил он, — я наблюдал за ним: всё дело в двойном движении руки. Когда он хотел сделать нас серьёзными, успокоить и смирить, он поворачивал ладонь вниз; когда хотел возвысить и вдохновить — поворачивал ладонь вверх. Вот и всё». И это было всё, что человек увидел в красноречивой речи. Он не был глупцом, но был подражателем. Он искал единственную тайну многообразного действия. Полагаю, с того дня и доныне он всё переворачивает руку ладонью то вверх, то вниз и удивляется, почему никто не становится ни серьёзнее, ни вдохновеннее.

[21] Другое зло подражания — утрата собственной личной силы — ещё очевиднее и печальнее. Если бы чужие манеры подхватывали лишь люди, вовсе неспособные иметь собственную, это было бы не так плохо; но нередко так поступают сильные люди. Они подражают тем, кто во всём ниже их, и таким образом какой-нибудь претенциозный болван не просто даёт нам самого себя, но лишает нас простой, прямой силы лучшего человека — как бревно, застрявшее в узком месте русла, останавливает воду свободного, живого потока.

[22] Я убеждён: единственное избавление от власти подражания, раз оно нас коснулось, — а помните, оно часто касается без нашего ведома; мы с вами можем сегодня подражать другим, совершенно этого не сознавая, — заключается в более глубокой серьёзности ко всему труду. Нам нужны более полное чувство личной ответственности и более действительное почтение к

людям, превосходящим нас. Дайте человеку настоящее личное чувство собственного долга — и он должен будет исполнить его своим способом. Искушение подражания настолько коварно, что ему нельзя противостоять одним решением не подражать. Нужно противопоставить своё действительное «я» чужому назойливому «я», которое теснится в вас. Развивайте собственное чувство долга. Единственное, что не даёт океану течь обратно в реку, — это постоянное течение реки в океан. Кроме того, если вы действительно почитаете великого человека, смотрите на него с уважением и радуетесь его доброму труду, если по-настоящему чтите его, вы проникнете в его дух и, сделав это, перестанете копировать внешние привычки. Вы оскорбляете человека, пытаясь уловить его силу движением рук или построением фраз по его образцу; но чтите его, когда стараетесь сильнее любить истину и лучше исполнять Божью волю благодаря любви и верности, которые видите в нём. Поэтому освобождение от рабства поверхностного подражания должно прийти не через высокомерное презрение, а через более глубокое почтение к людям сильнее и успешнее вас.

[23] О спорном вопросе написанных и ненаписанных проповедей мне есть сказать немного. Думаю, значение вопроса очень преувеличено, а попытка решить его неизменным правилом была неразумна и, вероятно, превратила в запинающихся ораторов людей, которые могли бы действенно читать, либо в скучных чтецов тех, кто мог бы говорить сильно и пламенно. У разных способов очевидно разные преимущества. В написанной проповеди главная доля заботы вложена туда, где ей и следует быть, — в мысль и построение речи. Здесь есть обдуманность, уверенность в усердии и в лучшей работе человека. Истина приходит к людям с тем весом, который

получает от своей явной принадлежности к серьёзному убеждению проповедника. Здесь есть сдержанность, некоторая свобода от глупых гладких слов, так легко слетающих с бойкого языка. Пишущий избавлен от некоторых отчаянных мгновений, которые переживает говорящий без текста, когда у него вырывается жалкая глупость: он отдал бы всё, чтобы взять её назад, но не может и видит, как похожие на воронов репортёры подхватывают этот глупый кусочек на лету. Что бы ни говорили об обязанности трудиться над речами, произносимыми без текста, преимущество в добросовестности, несомненно, всегда будет за написанной проповедью. Король Карл Второй называл возникшую во время гражданских войн практику проповеди по рукописи «этим ленивым способом проповедовать», но, вероятно, сравнивал её с произнесением на память: всю проповедь сначала пишут, а затем заучивают наизусть. Некоторые так поступают, но, надеюсь, никто этого не рекомендует. С другой стороны, импровизированная речь имеет преимущество живой готовности. Она создаёт ощущение бодрости, сильнее поражает непосредственно, обладает большей деятельностью и теплотой. Даже самому грубому восприятию она сообщает представление об устойчивости и готовности, равновесии и самообладании. Люди восхищаются ею как признаком владения силами и независимости от искусственных пособий. Грубоватый житель виргинской глуши услышал, как епископ Мид проповедует без текста, и, не слишком зная обычаи Епископальной церкви, сказал: «Он мне понравился. Впервые вижу среди этих парней в юбках такого, кто умеет стрелять без упора».

[24] Так нетрудно охарактеризовать оба способа. Но, завершив характеристики, что мы скажем? Полагаю, лишь две вещи, настолько простые и обычные, что удивительно, зачем их вообще говорить, — и всё же сказать необходимо. Первое: два столь разных способа должны в целом принадлежать двум разным типам людей; одни созданы для рукописей, другие — для открытой трибуны. Исключить из служения любой из этих разрядов или заставить один пользоваться приёмами другого — значит обокрасть кафедру, заставив умолкнуть некоторых лучших её людей. Второе: почти каждый в некотором соотношении может пользоваться обоими способами; они помогают друг другу. Вы будете лучше писать, если часто говорите без записей, и лучше говорить, если часто подвергаете себя дисциплине письма. Прибавьте лишь, что доля проповеди без текста вполне может расти по мере зрелости человека в служении, — и я не знаю, что ещё сказать в виде общего указания. Остальное следует оставить собственному знанию человеком самого себя и личному здравому смыслу, стоящему за всей гомилетикой.

[25] Но есть одна вещь, которую я очень хочу настойчиво вам внушить. Настоящий вопрос о проповеди не в том, импровизирована ли она при произнесении перед людьми, а в том, была ли она когда-нибудь непосредственным излиянием: было ли время, когда речь свежо родилась из вашего сердца и ума. Главное различие между проповедями — одни сознают слушателей, другие нет. Главный вопрос: чувствуют ли они тех, кто их слушает? Если да, они воодушевлены, личны и теплы. Если нет, они спокойны, отвлечённы и холодны. Но сознание слушателей может прийти и в кабинет проповедника; тогда его проповедь рождается

там с той же личностностью и жаром, какие приобрела бы, создавай он её на кафедре перед множеством людей. Думаю, всякий серьёзный проповедник, когда пишет, нередко возбуждён сильнее и горячее воспламеняется желанием нести истину людям, чем когда-либо при устном выступлении. И удивительно вот что: если огонь действительно присутствует в проповеди при её написании, он остаётся там и вновь вспыхивает пламенем, когда приходит время произнесения. Воодушевление запасается и хранится. Это подобно огню, заключённому в угольных пластах века назад и выходящему теперь, чтобы дать свой неугасший и нерастраченный свет. Произнося старые проповеди, вы, думаю, всегда можете определить, даже забыв историю их создания, какие писали с воодушевлением, живо видя перед собой своих людей. Огонь всё ещё в них. У Фенелона было любимое изречение: всё, действительно написанное с воодушевлением, может быть быстро выучено даже кем-то, кроме автора. Мысль та же: однажды получившее подлинную жизнь никогда не умирает. Поверьте, это важнейшее начало в данном вопросе. Несомненно, применительно к разным предметам оно действует различно. Некоторые виды речей мы никогда не можем написать: их следует создавать в ходе произнесения. Другие лучше написать, если мы способны писать, видя перед собой людей. Одни лекарства надо смешивать на месте; другие можно приготовить заранее, и они сохранят силу. Только будьте уверены, что вы настоящий проповедник, что действительно чувствуете своих людей; тогда подробности метода можно решать по малым и личным соображениям — особой пригодности, до некоторой степени даже собственному вкусу. Я действительно думаю, вы удивитесь, как часто эта мысль

объясняет тайну силы проповеди, которую вы глубоко чувствовали, но с трудом могли разгадать. Служитель, читающий рукопись, имел вас рядом, когда писал эти страницы. В спокойном воздухе кабинета, освящённом мыслями и молитвами многих лет, ничто не вставало между ним и вами, поэтому случайные обстоятельства бумаги и чтения ничего не значат. Проповедь по-прежнему говорит с вами. Но иногда для проповедника без текста сама его импровизация становится тусклой, мёртвой тучей, которая окутывает его и отделяет от людей, тесно собравшихся у самых ног. Его мучит борьба мысли, он занят выбором слов; его ум следит за собственным действием, схватывая мысль за мыслью. Всё время идёт процесс припоминания и процесс предвосхищения, мешающие всецело пребывать в настоящем действии. Он вынужден помнить о себе и потому не чувствует людей. Уверен, это верное описание совсем не редкого состояния ума проповедника без текста. Думаю, лучшие когда-либо произнесённые проповеди, если принять во внимание все их качества, вероятно, были импровизированными; но число хороших проповедей, прочитанных по рукописи, вероятно, гораздо больше числа хороших проповедей, произнесённых без текста. Кто сумеет соединить эти два факта, придёт к довольно ясному и верному представлению о том, как лучше проповедовать ему самому.

[26] Позвольте предложить лишь несколько замечаний ещё об одном-двух предметах, прежде всего — о поясняющих образах. Христианская проповедь имеет дело со всей жизнью и может брать образы из самых широких областей. Первое требование к образу — истинность, то есть действительная связь с поясняемым предметом. В проповеди образ правильно употребляется либо для

ясности, либо для великолепия выражаемой истины. Обе цели, считаю, законны. Рёскин говорит: «Всякое благородное украшение есть выражение человеческой радости о Божьем творении». Поэтому, думаю, мы слишком ограничиваем назначение образа, давая ему лишь обязанность делать истину ясной разуму и не позволяя также делать её славной для воображения. Образы архиепископа Уэйтли относятся к первому роду, Джереми Тейлора — ко второму. Украшения, наполняющие его проповеди, почти всегда выражают радость человека о Божьей истине. Но оба рода образов, как видите, имеют общую черту: существуют ради истины. Они не считаются ценными сами по себе. Вот проверка, которую следует применять без пощады: привлекает ли этот образ внимание к моей истине или отвлекает от неё? Если второе — отсеките без колебания. Чем он красивее, тем хуже. Здесь, как и всюду, единственное спасение — любовь к истине ради неё самой. Любите истину, а затем ради блага ваших людей и собственной радости делайте её столь прекрасной, как только можете.

[27] Что касается предметов, из которых можно черпать поясняющие образы, мне кажется полезным гораздо шире пользоваться историей Ветхого Завета для пояснения Евангелия Нового. Причины таковы. Во-первых, между обоими есть существенная связь, поэтому они соединяются с особой близостью и уместностью. Во-вторых, сама древность этой истории делает её словно вневременной и бесстрастной, позволяя использовать исключительно как украшение или пояснение, без опасности привнести побочные вопросы из её собственной жизни. В-третьих, так мы оживляли бы и сохраняли знакомство людей с Ветхим Заветом, которое

постоянно приходит в упадок. Вторая причина показывает слабое место образа из текущих событий, в остальном столь сильного и живого. Трудно заставить его служить только пояснением. Он приносит собственные ассоциации и предубеждения. Он слишком жив. Это словно сделать карниз дома из дерева, в котором столько жизни, что после установки оно пускает побеги и листвой скрывает архитектуру, которую должно было лишь выявить. Во время мятежа трудно было пояснять христианскую брань привычной тогда историей солдатской жизни так, чтобы сквозь проповедь не слышались барабаны Потомака, а вдали не виднелись шпили Ричмонда столь же отчётливо, как стены Нового Иерусалима. Кроме того, чрезмерное рвение поймать последнюю сенсацию для украшения проповеди придаёт кафедральному труду некоторую дешевизну. Помня подобные предостережения, мы всё же не можем позволить себе потерять свежесть и действительность, приходящие, когда даём людям увидеть вечные истины, сияющие сквозь знакомые окна сегодняшнего дня, и понять, что мир столь же полон притч, как тогда, когда Иисус изображал виноградник между Иерусалимом и Сихемом или брал текстом недавнее страшное происшествие в Силоаме.

[28] Одно распространённое ныне представление о проповедях, возникшее как реакция на старый и неприятный способ, мне кажется ошибочным. В желании придать проповеди вид свободы и непосредственности многие не любят давать ей необходимое формальное строение и целостное устройство. Обозначение предмета, разделение на пункты, повторение главного в конце — все леса и анатомия проповеди — не в чести, и о них есть много очень хороших шуток. Я могу сказать лишь, что со временем стал бояться их всё меньше. Избавляться от

недостатка надо положительно, а не отрицательно. Настоящий способ убрать костлявость проповеди — не вынуть скелет, а облечь его плотью. Подлинная свобода письма приходит через закон, и чем основательнее очерчены контуры вашего труда, тем свободнее потечёт проповедь, как не растрачивающий вод поток между прочно устроенными берегами. Думаю, большинство общин приветствует и не воспринимает как обиду ясные, точные указания пути, которым пойдёт проповедь, тщательно отмеченное разделение её мыслей и прежде всего полное повторение её довода в заключение. Проповедь не подобна картине, которая, будучи написана, целиком стоит перед глазами. Её части ускользают из памяти; поэтому перед завершением полезно собрать их и как можно короче поставить перед умом слушателя одним законченным целым. Оставьте обычной речи в воскресной школе её бесспорное право на непоследовательность и бессвязность. Но своей проповеди дайте упорядоченное, связное движение и не бойтесь ясно показать его слушателям: это поможет им сначала понять, затем запомнить сказанное.

[29] Об ораторском искусстве и обо всех чудесных, таинственных способах его учителей я не смею говорить ничего. Я верю в настоящего учителя произнесения речи, как верю в существование кометы Галлея, появляющейся в поле зрения Земли примерно раз в семьдесят шесть лет. Но чему бы полезному вы у него ни научились и от чего бы ни отучились, подлинной силой вашего красноречия должна быть собственная разумная радость о том, что вы делаете. Пусть кафедра будет для вас тем же, чем мастерская для художника, зал суда для адвоката, лаборатория для химика или широкое поле с трубами и знамёнами для солдата; только несравненно священнее

пусть она будет всем этим для вас. Тогда вы обладаете силой, которая относится ко всем правилам так же, как душа к телу. У вас есть воодушевление — дыхание жизни.

30 Сегодня я говорил о создании проповеди. В начале одной из лекций я упомянул молодого человека, которого видел только вступающим в свой труд. Сегодня я думал о том, кого знал — нет, о том, кого знаю, — кто много лет назад завершил проповедование и отошёл к Богу. Как представляется ему всё это: правила и установления проповеднического искусства, которые он некогда изучал, как теперь изучаем мы? Не будем сомневаться, друзья мои: увидев в проповедуемой нами истине славу и силу, каких мы никогда не могли представить, он увидел также, что ни один приём, способный сделать представление этой истины миру хоть немного действеннее, не является ни пустяком, ни недостойной мелочью, ни чем-то, не заслуживающим терпеливой заботы и изучения служителя Христа.

Лекция 6. Община

[1] Я сказал всё, что хотел сказать о проповеднике и о проповеди. Сегодня хочу поговорить с вами об общине. Есть нечто примечательное в том, как служитель говорит о «моей общине». Очевидно, эти люди начинают казаться ему отличными от остального человечества. Есть весь прочий человеческий род — в Европе, Азии, Африке, Америке и на морских островах, — а затем есть «моя община». Эта привычка возникает у человека, как только он получает приход. Сколь бы молод и неопытен он ни был, он тотчас вступает во владение этой долей человеческой семьи и держит её с чувством собственности. Он сразу принимает некоторые вымыслы о ней. Считает само собой разумеющимся, что люди слушают его слова с почтением, совершенно не зависящим от ценности самих слов. Величественно рассуждает о том, «что я говорю моей общине», словно они принимают его наставления на основании, совсем отличном от того, на котором другие разумные люди слушают человека, занимающего перед ними место учителя.

[2] Он предполагает в них чувства, которых не ожидает ни от кого другого. Думает, что каким-то таинственным образом не только их разум, но и имущество подчинено его требованию: они должны передать его ему, как только он объявит, что нашёл ему доброе применение. Воображает, будто, хотя они столь же проницательны, как остальные, его маленькие уловки, совершенно прозрачные для всех других, прекрасно их обманывают. Он говорит о них так неестественно, что мы почти удивляемся, спросив имена и обнаружив знакомых

мужчин и женщин, живущих обычной жизнью и судящих о людях и вещах обычными мерками, со всем разнообразием характеров и привычек, какое должно быть в подобной группе. Их-то он и отделил от остального человечества, выделил по отношению к себе и назвал «моей общиной».

[3] Думаю, значительная доля нереальности церковной жизни происходит из этого чувства служителей к своим общинам. Я знал многих служителей, откровенных, простых и открытых с людьми, за которых они не чувствовали ответственности, но немедленно окутывавших себя плащом вымыслов и умолчаний при встрече с прихожанином. Они были готовы дать постороннему ясно увидеть, что многого в религии и богословии совсем не знают, во многих вопросах сомневаются, некоторые положения веры своей церкви считают неважными для спасения, некоторые приёмы её управления — неразумными. Всё это они свободно говорили, беседуя с волком через стену овчарни или с овцой из соседнего стада; но среди собственной паствы молчали или утверждали, что всё правильно, и не подозревали, что паства видит насквозь их слабую осторожность. В результате прихожане порой доверяли другим людям больше, чем своему служителю, именно потому, что он был их служителем, и шли с тревожными вопросами и тёмными переживаниями к кому-то, кто говорил бы о них свободно, не чувствуя, что обращается к члену собственной общины.

[4] Нетрудно указать причины этого чувства, в котором, как мы видим, есть опасности. Дурная его часть — любовь к власти. Лучшая — тревожное чувство ответственности, ещё усиленное подлинной привязанностью, возникающей

в сердце проповедника. Это почти родительское чувство и в худших, и в лучших чертах: в пристрастности и ревности, равно как в преданности и любви. Но, помимо этого, во взгляде проповедника на общину есть ещё одно начало, которое прошу заметить и обдумать. Он предполагает, что характер людей, собранных вместе, отличается от того, каким был, когда на них смотрели по отдельности. В этом настоящий смысл тона, звучащего в выражении «моя община». Для служителя она — единство совершенно нового рода. В общине есть нечто, чего нет в мужчинах и женщинах, какими он знает их по отдельности; нечто в совокупности, чего не было в отдельных лицах; характер целого, которого не было у частей. Поэтому он способен объединить их в мысли как особый народ, держать в руке как новое человеческое единство — свою общину.

[5] И несомненно, отчасти он прав. Под чувством, которым он смутно руководствуется, лежит определённое начало. Множество людей, собранных ради особой цели и на время поглощённых общим интересом, имеет новый характер, которого нет ни у одного из составляющих его лиц. Если вы оратор, обращающийся к толпе, вы это чувствуете. Вы без колебания говорите ей то, что показалось бы слишком смелым или слишком простым в беседе лицом к лицу с любым человеком из неё. Если же вы наблюдатель и смотрите на толпу, пока с ней говорит другой, то чувствуете то же. Вы видите, как по всей массе проходят чувства, которых никто из присутствующих не соизволил бы показать и не согласился бы испытать, если бы мог этому воспрепятствовать. Толпа смеётся над шутками, которые каждый в ней презрел бы, и растрогана приторной жалостливостью, не способной исторгнуть слезы у самого слабого из них наедине. Представьте

Петра Пустынника, сидящего с одним человеком и пытающегося зажечь его для крестового похода. Вероятно, всё это менее верно для собрания слушателей Новой Англии, чем для любого другого в нашей стране. Здесь каждый охраняет свою индивидуальность и не так легко даёт ей раствориться в характере множества. И всё же даже здесь мы мужчины и женщины, и всеобщие законы человеческой природы действуют и среди нас. А это закон природы, замеченный всеми. «Странно это говорить, — пишет Артур Хелпс в „Реалме“, — но, когда число членов какого-либо общественного собрания превышает сорок или пятьдесят, во всём собрании появляется нечто от радостного детства, и каждый участник временами оживляет в себе весёлую, озорную природу школьных дней». Каннинг говорил, что Палата общин как целое обладает лучшим вкусом, чем самый тонкий ценитель среди её членов, а Маколей весьма склонялся считать Каннинга правым.

[6] Из каких начал состоит этот новый характер, принадлежащий общине, собранию людей? Два уже указаны в приведённых примерах: непосредственность и свобода, а также более высокая мерка мысли и вкуса. Нетрудно увидеть и некоторые другие. Несомненно, восприимчивость здесь больше, чем у отдельного человека. Многие источники противодействия устранены. Склонность к раздражению утихает. Гордости спорщика нет; либо она смягчена тем, что никто другой не может услышать спор: он не вправе произнести ни слова и должен происходить молча, в собственной душе. Уступить легче, когда сидишь невыделенным среди слушателей и ближайший сосед не видит мгновения твоей уступки. Сдача теряет половину трудности, когда не нужно сдавать меч и спускать флаг. Кроме того, все мы чувствовали, как

молчащее множество, среди которого сидим или стоим, становится для нас идеальным и героическим. Нам кажется, что оно слушает без предубеждения и откликается бескорыстно и благородно. Так поднимающая сила массы, с которой мы слились, возносит нас к лучшему в нас. Это может быть иллюзией. Каждый из этих молчаливых людей, быть может, думает и чувствует низко; но, вероятно, каждый ощутил возвышающее действие окружающей массы, частью которой являемся и мы, и потому поднимает других и поднимается сам, как мы. Кто скажет, какие капли в могучем движении прилива несомы, а какие несут другие к берегу, на который все вместе поднимаются?

[7] Таково доброе свойство характера общины. Оно порождает то, что мы обычно называем отзывчивостью. Противовес, отнимающий часть его ценности, — безответственность. Собрание быстро чувствует, но медленно решает. Люди, составляющие собрание, поодиночке медленнее воспринимают довод или обращение к высшей природе; но, когда они убеждены или затронуты, сравнительно легко разбудить совесть и дать увидеть необходимость действия. Я часто слышал, как обращения служителя сравнивают с речами адвоката перед присяжными. «Посмотрите, — говорят, — адвокат выступает и получает вердикт. Вы обращаетесь сто раз, доказываете неделя за неделей, а люди всё не решаются признать христианство истинным и не принимают твёрдого решения вести новую жизнь». Ошибка очевидна. Мы похожи на адвокатов перед присяжными, которые, во-первых, вовсе не чувствуют обязанности что-либо решать, а во-вторых, если решат так, как мы убеждаем, должны изменить жизнь, порвать с привычками и приобрести новые, о чём им не хочется думать. Это

совсем не те двенадцать человек, которые не могут уйти домой, пока не решат так или иначе, и не имеют личной выгоды, склоняющей решение. Неудивительно, что наши присяжные слушают сколько хотят, быть может, немного трепещут, когда мы особенно правдивы и сильны, а затем, подобно Феликсу, бывшему святому Павлу и судьёй, и присяжными, закрывают суд и расходятся с самым смутным чувством ответственности, говоря: «На этот раз ступай. Я ещё послушаю тебя об этом».

[8] В результате в общине перед вами нечто очень близкое к человечеству вообще. Перед вами человеческая природа в самом широком её созерцании. Личные особенности исчезли, и вы видите человека просто как человека. Это большое преимущество для проповедника. «Легче познать человека вообще, чем отдельного человека», — сказал Ларошфуко. Если бы в толпе, которой вы проповедуете, вы видели каждого не только в целом, но и в частности, если бы каждый сидел, весь ощетинившись своими особенностями, как можно было бы проповедовать? Думаю, некоторые проповедники бессильны именно из-за неспособности к более широкому, общему видению человечества, которое должно пробуждать собрание. О французских проповедниках говорили: Боссюэ лучше знал человека, чем людей, а Фенелон знал и человека, и людей. Некоторые словно знают людей, но едва знают человека и едва им затронуты. Они готовы к особому сочувствию и подробному совету в частных затруднениях, встречающихся людям; но вид человеческого рода их не пробуждает, и они не способны воздействовать на народ всеобщими и вечными побуждениями высшего человеческого действия. Эти побуждения могут распределяться на отдельные мотивы отдельных

поступков, но всё же обладают действительным единством и служат источниками множества добрых дел разных видов. Такие люди могут быть в известной мере пригодны как духовные советники отдельных лиц, но нелегко увидеть, как они могут стать сильными проповедниками человечеству.

9 Думаю, человеку почти необходимо иногда проповедовать незнакомым общинам, чтобы сохранять ощущение проповеди человечеству и тем самым поддерживать надлежащую широту возвещаемой истины. Постоянно служащий одним людям и знающий их во всех подробностях склонен мельчить проповедь, забывать мир и ошибаться об Евангелии так же, как ошибся бы о силе тяготения тот, кто стал бы считать её особым устройством ради тех немногих действий, которые она совершает в его доме. Думаю, мало есть для жизни служителя вдохновений и укрепляющих средств лучше, чем, будучи измученным и удручённым сотней мелких тревог, пойти проповедовать собранию, где нет ни одного знакомого лица. Когда он встаёт и перед началом проповеди окидывает людей взглядом, это словно взгляд в лицо человеческому роду. К нему приходит всё благородство и вся ответственность призвания. Такое чувство иногда испытываешь в путешествии, проезжая большой город, имени которого даже не узнал. Там были люди, но ни одного знакомого; дома, лавки, церкви, банк, почта, дела и удовольствия, но ничто не получило для тебя особого лица через личный интерес.

10 Это человеческая жизнь вообще, и нередко в ней есть торжественность, которую утратили знакомые в отдельности человеческие жизни. Именно это мы часто

находим на незнакомой кафедре перед общиной, целиком состоящей из незнакомых людей.

11 Но это должно быть лишь время от времени. Постоянное странствие по незнакомым городам, несомненно, ослабило бы, а возможно, вовсе уничтожило наше чувство человечества. Несомненно, человеку полезно, чтобы знание общины было прежде всего и главным образом знанием собственной общины, а некоторые опасности слишком исключительной связи устранялись бы проповедью порой там, где все незнакомы. Примечательно, как многие великие проповедники мира неразрывно связаны с местами своего труда, где, возможно, прошла вся их жизнь. Во многих случаях место вошло в имя, словно стало подлинной частью самого человека. Златоуст Константинопольский, Августин Гиппонский, Савонарола Флорентийский, Бакстер Киддерминстерский, Арнольд из Рагби, Робертсон Брайтонский, Чалмерс из Глазго; и в нашей Новой Англии множество подобных связей, ставших историческими и заставляющих всегда думать о человеке вместе с местом, а о месте — вместе с человеком. Всюду человек должен иметь своё место. Учеников порой представляют так, будто наша нынешняя пастырская жизнь полностью отошла от их методов; а ведь у них были собственные пастырства. Вспомните святого Павла в Эфесе, святого Иоанна в том же городе, святого Иакова в Иерусалиме. Не можем ли мы сказать: та же необходимость, которая потребовала, чтобы Воплощение принесло Божественное не в человечество вообще, а в особый человеческий круг — в народ, племя, семью, — требует, чтобы желающий всюду приносить плоды человечеству укоренился в особом участке человеческой жизни и в одной определённой точке извлекал богатство

земли, которым будет жить? Нет ничего лучше в жизни священнослужителя, чем постоянно чувствовать, что через свою общину он достигает человеческого рода. Несомненно, долгие пастырства прежних дней были богаты знанием человеческой природы и очень близкой связью с человечеством. Следующие три правила словно заключают практический итог всего дела. Прошу запомнить их и применять со всей мудростью, которую даст Бог. Первое: служите как можно меньшему числу общин. Второе: знайте свою общину как можно основательнее. Третье: знайте её настолько широко и глубоко, чтобы, зная её, знать человечество.

12 Я слишком долго задержался на общине как целом. Перейду к тому, что открывается всякому служителю, когда он принимает определённую общину как свою и узнаёт её очень хорошо. Тогда единство, в котором он увидел её, впервые встав перед нею, распадается, и люди разделяются на различные разряды. Между одним большим собранием, наполняющим дом, и отдельными лицами, из которых оно состоит, есть деление на разные группы, встречающиеся с теми или иными изменениями в каждой общине страны. Посмотрим, каковы они.

13 Прежде всего, и заметнее всего, в каждой общине есть люди, особым образом представляющие её перед миром. Они словно живут в Церкви. Вся их жизнь связана с её интересами. Они могут занимать церковные должности, а могут и не занимать. Они — часть её истории и нынешней жизни. Общину называют их именем почти столь же охотно, как, по вашему конгрегационалистскому обычаю, именем служителя. Всякое новое начинание в церковной жизни сперва ищет у них одобрения, затем — средств для осуществления. Их иногда называют «столпами Церкви».

И такие люди очень ценны. Часто их жизнь очень благородна и преданна. У столь заметных представителей церквей жизнь бывает столь же истинно посвящённой, со своим собственным поставлением, как у любого служителя. Они придают общине прочность и постоянство, сохраняют её преемство и тождество среди непрерывных перемен менее прочно закреплённых частей. Они собирают свою силу вокруг служителя. Они спасают его от ереси, сопровождавшей всю христианскую историю и ставшей плодотворным источником многих бед, — ереси, будто духовное лицо и есть Церковь. Они постоянно напоминают, что Церковь — это народ, а он — слуга Церкви. Я всем сердцем признаю ценность этого начала в общине. Думаю, каждому приходу нужны такие миряне: без них он был бы весьма рыхлым и несвязным. И всё же прошу заметить опасности, связанные с особой заметностью и полезностью немногих церковных членов. Всегда возможно превращение Церкви в своего рода клуб, обеспечивающий нужды — быть может, даже высшие духовные нужды — немногих, но забывающий об окружающем мире и о своём предназначении для всех людей. Эта опасность принадлежит самому факту признанного сообщества, именуемого общиной. Она усиливается, когда в центре его есть ядро, подчёркивающее все его качества и дух, — община внутри общины. Общине следует быть обособленной лишь в том смысле, в каком наш старый профессор богословия говорил об Евангелии: свет на Фаросском маяке был закрыт стеклом только затем, чтобы ярче гореть и дальше светить. Помните эту опасность. Отдавайте много времени, мысли и заботы окраинам прихода, его разрозненным и обтрёпанным краям; ищите людей, которых только заносит в область вашего влияния и вновь

унесёт, если на них не ляжет ваша добрая, крепкая рука. Не проводите слишком много времени в безопасной овчарне, где девяносто девять в сохранности, пока овцы остаются в горах. Будьте уверены: ничто не сделает ядро и сердце общины столь прочным, как сильное притяжение внутрь её рыхлой окружности. Сильные и укоренённые люди вашей церкви выше оценят вас и вашу полезность для них, увидев вашу занятость среди несчастных, беспечных и тех душ, которых люди смеют называть никчёмными. Есть, думаю, и другая опасность, которую приносит община внутри общины. Миряне, наиболее деятельные и заинтересованные в церковной жизни, очень часто не самые восприимчивые слушатели. Они склонны считать несколько истин окончательно установленными и, вполне их осознавая, постоянно пользуясь ими в церковной работе, не просить большего, даже едва быть открытыми большему. Они наполовину духовные лица, наполовину миряне, без полной восприимчивости и умственной предприимчивости, свойственных каждому из этих разрядов. Поэтому они иногда становятся догматичными и не просто сами не желают размышлять или учиться, но с честным, узким страхом недовольно смотрят на рвение духовенства и других мирян к истине, выходящее за их собственные установленные границы. Самая сильная нетерпимость часто встречается скорее у богословствующих мирян, чем у духовных лиц. Столпы Церкви склонны уподобляться Геркулесовым столпам, за которые никому нельзя было плыть. Декан Стэнли в очерке о связи Церкви и государства говорит о мирянском начале в церковных синодах: «Миряне, обычно выступающие в таких собраниях, не представляют подлинного мирянского ума Церкви, тем менее — мирянского разума всей страны.

Часто это превосходные люди, преданные добрым делам, но обычно они также сторонники какой-либо особой духовной школы; словом, скорее духовные лица в иной форме, чем действительные миряне». Он пишет об английском предмете, но его слова описывают опасность, знакомую и нам в Америке; она заставляет нас с радостью идти дальше и находить в общине и другие начала помимо этого весьма ценного, незаменимого, о котором я говорил.

[14] Перейдём сразу к противоположной крайности. В очень многих, если не во всех нынешних общинах, есть тот, кого можно назвать высокомерным слушателем. По какой-то причине он приходит в церковь, но не сочувствует происходящему. Он скептически относится к истинности того, во что мы верим и что проповедуем. Вы узнаёте этого слушателя. Вы уверены в его критичности. Знаете, что безопасные, звучные и бессмысленные заявления, которые некоторые из ваших людей примут за правильные слова и верное звучание, он подхватывает, едва они слетят с уст, и разрывает их хрупкую ткань в своём беспощадном уме. Порой сердце ваше падало, когда вы говорили глупость и не смели взглянуть ему в лицо, уверенные, что она от него не ускользнула. В одной из великопостных речей Массильон укоряет таких слушателей: «Не за хлебом, — говорит он, — вы приходите в Египет. Вы приходите высмотреть наготу земли. Exploratores Estis, ut videatis infirmiora terræ hujus venistis». Такое начало в общине, пусть очень малое, неизбежно влияет на проповедника. Как ему следует к нему относиться? Начать, по-моему, надо с чувства, что само присутствие подобных людей в церкви что-то означает. Они пришли не всецело по той злонамеренной причине, которую приписывает им Массильон; и уж, конечно, не будут постоянно приходить лишь ради неё.

Есть какая-то лучшая и более глубокая причина, хотя бы сам человек её не сознавал. Проповедник вправе в это верить, и тогда присутствие этого человека может стать вдохновением, а не помехой. Когда это достигнуто, он может помогать и иначе. Он сохраняет свежесть церковного воздуха, даёт вам при проповеди сознавать неверие, о котором нельзя забывать, подстёгивает чувством трудности и сознанием критики. Приход одних критиков был бы убийствен, но критик тут и там укрепляет. Он не даёт стенам церкви стать столь плотными, чтобы при проповеди вы не могли, как должны, смотреть сквозь них, словно сквозь стекло, и проповедовать с живой памятью о множестве людей, которые никогда не ходят в церковь, не знают вашей истины, но для которых она столь же истинна и могла бы быть столь же полезна, как для вас. Этот человек делает всё это действительным, заставляет помнить. Странно, как общее неверие вокруг нас может вовсе не смущать и не тревожить, тогда как один близкий случай возбуждает нас и пробуждает все силы. Это похоже на то, как можно прекрасно продолжать личную работу или мысль, быть может, даже лучше, под общий гул города, тогда как единственный молот, стучащий под окном, отвлекает и заставляет его слышать. Как такому критику войти в вашу проповедь? Какое влияние на неё должно оказать знание о его присутствии? Я сказал бы: сделать всю проповедь правдивее и добросовестнее, полнее лучшими качествами, принадлежащими всякой хорошей проповеди, но не изменить её существенного характера. Проповедуйте Евангелие тем серьёзнее, проще и, если можете, мощнее из-за недружелюбной критики, с которой ему предстоит встретиться; но пусть это будет то же Евангелие, какое вы излили бы в уши, жаждущие принять

его. В проповеди неверию следует избегать двух ошибок: вызывающей враждебности и угодливости. Первая заставляет неверующего ненавидеть вашу истину, вторая — презирать её. Будьте откровенны, смелы, просты. Ничто неверующий не чтит так, как веру. Пусть высокомерные и скептические слушатели влияют прежде всего на вас, делая серьёзнее и ревностнее; затем пусть это косвенно войдёт в проповедь, не меняя темы, а наполняя её более сильной убеждённостью и любовью. Конечно, сейчас я говорю не о проповедях, специально посвящённых определённой форме скептицизма, а лишь об общем характере проповедования с учётом этой части общины.

15 Следующее начало общины, о котором я хочу говорить, менее интересно, чем эти два, и, возможно, более загадочно. В каждой общине много людей, которые, кажется, приходят в церковь исключительно по привычке. Как и с высокомерными слушателями, трудно сказать, зачем они приходят, но теперь не из-за положительных причин не приходить, а просто из-за отсутствия причин приходить. Такой слушатель кажется восприимчивым к наставлению, но его послушание состоит в том, что он никогда не сомневается и не отвергает сказанного вами. Вероятно, он вырос в Церкви. К таинственному побуждению, каждое воскресенье направляющему его шаги к святилищу, в той или иной мере присоединяется представление о респектабельности. Если бы вы проникли достаточно глубоко, глубже его собственного сознания причин, то, вероятно, нашли бы, что некий смутный страх имеет отношение по крайней мере к возникновению, а возможно, и к продолжению этой странной привычки. Это вовсе не необычное зрелище. Он приходит и уходит во всех наших церквах. Во многих

кажется, что подобные ему составляют значительную часть общины. Что же о нём скажем? Прежде всего, как мы сказали о критике, мы вправе считать, что не до конца постигли тайну его присутствия. По крайней мере можем надеяться: хотя бы бессознательно и смутно дух этого места достиг его. Надеясь на это, вы можете ожидать, что бессознательный порыв разовьётся в сознательный поиск, если сможете усилить дух места и сделать его присутствие вокруг человека более определённым. Форма перемены будет различна в зависимости от характера. Она может быть внезапной и бурной: обращением столь же подлинным и ярким, как у того, кто после многих лет грубого невежества впервые слышит историю Спасителя. Или очень постепенной: медленным, тихим собиранием в одну точку и воспламенением того тепла, которое он столь долго впитывал, не зная об этом. У каждой проповеди два действия: особое — в укреплении одной мысли или внушении одного долга, и общее — в распространении чувства красоты святости и ценности истины. Ко второму этот привычный слушатель был восприимчив в течение многих богослужений и проповедей, словно прошедших по нему ветром. Как бы ни пришло пробуждение, для служителя нет более счастливого зрелища. Оно вливает новую силу, даёт ещё одно свидетельство в пользу его истины и учит уроку, который проповедник должен знать, но вполне может усвоить лишь из таких переживаний: его дело — никогда ни в ком не отчаиваться. Возможно, для служителя именно это и есть конечная цель присутствия в общине этого самого обескураживающего существа. Иногда он даёт служителю такое ободрение, какое не мог бы дать никто другой. А между тем, сидя со спокойным лицом, встречавшим столько проповедей, он словно должен был

бы одним своим присутствием сильнее всего понудить усталого, банального служителя к свежести и меткости. Он стыдит и вдохновляет вас. Заставляет почувствовать ответственность и не желать ею хвастаться. Напоминает о долге и слабости. Обличает всё причудливое или нереальное в проповеди. Побуждает к самой простой, прямой и краткой истине. В старой русской литургии есть молитва, всегда казавшаяся мне самим образцом молитвы служителя. Как хотел бы я, чтобы все мы научились молиться ею постоянно; а этот человек в общине заставляет молиться с удвоенной серьёзностью: «Господи и Владыка жизни моей, отними от меня дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия».

[16] Но от этих разрядов обратимся к той части общины, которая составляет её главный и самый вдохновляющий интерес. Я имею в виду людей, которых так или иначе можно назвать серьёзными искателями истины. Это начало вызывает в проповеднике всё лучшее. Читая наставления Христа, мы очень часто почти чувствуем, как Его взгляд блуждает по пёстрой окружающей толпе, пока не находит человека, явно исполненного серьёзного стремления; тогда речь направляется к нему, и мы почти ощущаем, как сердце Спасителя бьётся в тревожном желании помочь бедному, забытому существу, давно исчезнувшему из человеческой памяти, но в котором в тот далёкий день Он увидел ищущего. И можно с уверенностью сказать: человеку, не способному быстро откликнуться на призыв духовного голода, недостаёт основополагающего качества истинного проповедника. Есть люди, которые не могут видеть телесной боли без желания её облегчить; это желание рождает изобретательность в помощи, из которой происходят все лучшие усовершенствования врачебного искусства.

Другие так же замечают нужды и томления человеческих душ, и в них рождается святая изобретательность, которой пользуется истинный проповедник. Душа пробуждает ум к наибольшей плодотворности.

17 Я не разделяю этот разряд на подгруппы. Он включает весь круг личной серьёзности. Сердце, только сознавшее какую-то нужду и совсем не знающее, в чём она; неудовлетворённое и беспокойное не только от недостаточности земного, но и от настоящего влечения, приходящего из высшей жизни, — такое сердце стоит рядом с другим, давно познавшим истину и давно покоящимся на любви Христа, но всегда жаждущим более глубокой истины и менее стеснённой любви. Эти два сердца принадлежат друг другу. Они помогают внести в общину один и тот же дух, посылают проповеднику одно и то же вдохновение. Хорошо всегда мыслить их вместе, оценивать общину не по той ступени христианского достижения, до которой, как вам кажется, она дошла, а по духовному желанию и ревности, которые в ней заметны. В первом мы можем ошибаться. Во втором едва ли ошибёмся. Здесь должно быть настоящее ободрение проповедника. За всеми показателями, которые дают списки членов церкви и ящики для пожертвований, лежит знание, возникающее из всего тревожного общения с ними: ищут ли эти мужчины и женщины, которым он проповедует, большей истины и более высокой жизни? Кажется, один из путей исполнения Господнего блаженства об алчущих и жаждущих правды — сила помочь им, которую сам вид их жажды и голода даёт людям, посланным Богом питать их.

18 И я верю, что доля таких людей в общем собрании гораздо больше, чем мы склонны предполагать. Во всей

жизни, и нигде более, чем в речах о Церкви и её труде, циничные и уничижительные мысли гораздо легче выразить остроумно и хлёстко, чем мысли, полные надежды. Поэтому они легко обращаются и внушают себя людям. Нетрудно рисовать неверующие или легкомысленные части общины, пока не покажется, будто всё воскресное собрание участвует в сложном заговоре осмеять само себя: будто толпа собирается критиковать то, во что никто не верит, и с наполовину скрытым нетерпением выносить то, что никого не заботит. Но чем искуснее и безоговорочнее нарисована такая картина, тем очевиднее она опровергает себя. Если бы община была такова, никакой общины вскоре бы не осталось. Если бы в этом состоял смысл собрания, люди явно не собирались бы вновь и вновь год за годом. Никакая простая инерция прежнего толчка не могла бы двигать столь мёртвый груз. Нет, в общине есть жажда истины, составляющая её сердце и душу. Верьте в это. Пусть вся община в ваших глазах приобретёт ожидающий взгляд. Пусть это наполняет кабинет, когда вы пишете дома. Если среди частей большого собрания вы растеряетесь и не сможете решить, для какой писать или говорить, я без колебания скажу: для этой. Обращаясь к этому духу, вы непременно обратитесь наиболее всеобщим образом. Иногда — проповедь совершенно равнодушным, пробуждающая их сонную беспечность; иногда — презрительно скептическим, показывающая, если сможете, слабость их высокомерия, проповедь, при необходимости зажжённая чем-то от «презрения к презрению»; иногда, быть может, — редким немногим, чья жизнь словно овладела истиной и омылась в любви, проповедь поздравления и мира. Но почти все проповеди — с ищущими перед глазами. Проповедуя им, вы

проповедуете всем. Равнодушные пробудятся к надежде, презрительные почувствуют укол стыда, а перед теми, кто яснее всего сознаёт уже совершённое Богом для них, откроются видения ещё большего, что Он может совершить; подобно святому Павлу, они забудут оставшееся позади и устремятся вперёд с новым желанием.

[19] Из признания этого начала в общине вырастает понимание служителем необходимого разнообразия христианской жизни. Всякая серьёзность подчёркивает индивидуальность. Пока вы не видите личной тревоги в глазах своих людей, можете спокойно строить собственные планы о них, решать, какими их следует сделать, и браться за работу в уверенности, что они примут вашу истину именно вашим способом и отольют жизнь в предложенную вами форму, словно она представляет единственно возможный облик христианского характера. Но когда вы чувствуете тревожное желание мужчин и женщин, действительно ищущих истину, когда из всех сосредоточенных, молчащих рядов до пробудившихся ушей доходит крик: «Что мне делать, чтобы спастись?» — тогда вы по-настоящему узнаёте, насколько широко и многообразно спасение. Пробуждение и комната для бесед с ищущими всегда должны расширять человеческое представление о христианстве, а ведь они лишь усиленные выражения того, что всегда присутствует и всегда может быть почувствовано в каждой общине. Один служитель как-то сказал мне, насколько странным кажется ему следующее: много лет он проповедовал одну истину одним языком, а люди, приходившие к нему под её воздействием, никогда не воспринимали её в его форме и, рассказывая о своём опыте, не пользовались тем языком,

которым он им её представлял. Это его тревожило. Он начинал спрашивать себя, не был ли употреблённый им язык неправильным и ложным; возможно, также — та ли это истина, которой он старался их научить, если они излагают её так иначе. Для меня это скорее показывало, что в его словах должны были быть истина и благородная действительность, подлинная питательная сила: люди брали их, как берут здоровое зерно с полей и превращают во всевозможную силу и труд. Как бы там ни было, чем вернее вы мыслите свою общину как искателей спасения, которым должны открыть священные двери, тем готовнее будете видеть каждого входящим в спасение, особым образом принадлежащее именно ему. Вы будете радоваться, а не печалиться, когда человек расскажет, что Бог совершил для него, и вы лишь постепенно узнаете: новым сокровищем его жизни стала сказанная вами истина, преобразившаяся в форму, о которой вы и не мечтали.

[20] Итак, таковы начала, составляющие общину. Это постоянные слагаемые. Чтобы вполне представить общину, нужно мыслить её не закрытой, а открытой, всегда включающей людей, которые как простые незнакомцы забрели внутрь и сели среди постоянных участников. Они напоминают о внешнем мире. Их незнакомые лица напоминают проповеднику о человечестве вообще. Они совсем не классифицированы: просто мужчины и женщины. Думаю, наличие такого начала — большое преимущество общины. Для неё они то же, чем для Христовых учеников были немногие соприкоснувшиеся с Иисусом неиудеи: сирофиникиянка, сотник, греки, просившие увидеть Его. Они не давали представлению о Его служении тесно замкнуться внутри иудейского народа. Вот опасность сельского прихода, где

вы знаете каждого входящего в церковь: забывается миссия миру. Я не знаю иной защиты от такого забвения, кроме глубокого чувства общечеловеческой природы людей под их особыми характерами: пусть они будут подлинными представителями рода, а не только отдельными лицами, чьи лица, имена и привычки вы знаете.

[21] Таковы начала. Теперь соедините их в уме и спросите, какое тело они образуют. Каковы будут общие черты этого собрания, столь разнородного и всё же заключающего столь подлинное единство, которое мы называем общиной? Ему присуща настоящая прочность, исходящая из определённых основополагающих предпосылок. Оно собрано как христианское собрание. Оно не рыхло и не бессвязно, как множество вокруг Павла на холме Марса, просто ищущее нового или, более серьёзно, истинного. У него определённый характер. Оно признаёт определённый авторитет. И всё же оно бодрствует и спрашивает. Желаемая им истина открыта для обильного разнообразия понимания и применения. Именно сочетание прочности с жизненностью, согласование установившихся условий с постоянной деятельностью и ростом, думаю, ярче всего характеризует христианскую общину. Это учреждение, проникнутое индивидуальной жизнью; это собрание отдельных лиц, которому дана некоторая связность учреждения. Это одновременно дом веры и мысли. Старайтесь сохранить в своей общине весь этот характер. Помните и её общественное устройство, и её индивидуальную природу. Не пытайтесь сделать из неё высокоорганизованную машину и не позволяйте ей просто рассеяться в аудиторию. Делайте её единой, не теряя её множества; обращайтесь с ней как со многими, не забывая единства.

Пусть она будет полна духа авторитетной истины и одновременно личной ответственности за мысль и действие.

[22] Если взглянуть на христианскую общину иначе и, возможно, проще, она предстанет, быть может, лучшим представительным собранием человечества, какое можно найти в мире. Мужчины, женщины и дети присутствуют вместе. Ни возраст, ни пол не должны монополизировать её преимущества. Всякое служение ей должно быть одновременно полно силы и нежности, отцовского и материнского прикосновения. Богатство и бедность встречаются на равных в замысле общины, как бы ни обстояло дело в действительности. Даже учёность и невежество признаются законными участниками встречи. Как бы трудно ни было это осуществить, ясно признаётся: проповедовать следует так, чтобы и мудрейший, и простейший могли понять и получить благословение. Итак, перед нами чистое человечество. Какое другое собрание соединяет нас на одном лишь основании принадлежности к человеческому роду? Именно это, думаю, имеется в виду в записи о служении Иисуса: «Простой народ слушал Его с радостью». Не бедняки вследствие какой-то привилегии бедности, а люди богатые или бедные, мудрые или необразованные, в которых основные начала человеческой жизни не были затемнены искусственной образованностью. Фарисей или мытарь, рыбак или философ — если они не забыли быть людьми, то оставались «простым народом» и с радостью слушали человеческого Спасителя. Он проповедовал их человечности, и ничто из известного Ему о Боге не было слишком драгоценным, чтобы донести это, если мог, до их понимания. Проповедуйте той же человечности — и вы тоже дадите ей лучшее. Доверяйте своим слушателям

больше, чем большинство служителей. Начните служение с уверенности: если вы дадите людям лучшую свою мысль, она не будет для них слишком хороша. Они примут всё. Только убедитесь, что она действительна, что вы даёте её ради их высшего блага и что, приняв её, они действительно получили бы добро; затем давайте самое лучшее и истинное, что знаете. На одного служителя, проповедующего «поверх голов», приходится двадцать, чья проповедь блуждает под ногами или отброшена в воздух, быть может, на верной умственной высоте, но в совершенно неверном направлении. Это не значит, что не нужно различать; только различие не должно касаться качества мысли. Никогда — лучшая мысль старшим, дешёвая детям; никогда — лучшая богатым, скудная бедным. Лучшее, что вы можете дать, ни для кого не слишком хорошо. Но при даровании лучшего нужно самое верное и тонкое различение: как его дать и какую часть предложить этой общине, а какую другой. Это не вопрос правила. Это дело мудрого, сочувственного чутья. Воспитывать такое чутьё, учиться чувствовать общину, позволять ей требовать от него своего — одна из первых обязанностей служителя. Пока вы этого не делаете, можете быть великим толкователем, блестящим «сочинителем проповедей», но проповедником быть не можете. Никогда не соблазняться глубокомыслием там, где оно пропадёт впустую; никогда не быть по-детски простым там, где нужна мужественная сила; никогда не быть скучным, намереваясь быть торжественным, или легкомысленным, намереваясь лишь быть живым, — всё это приходит от очень быстрой способности восприятия и приспособления. Наш труд всегда имел любопытные связи с искусством рыбной ловли. Позвольте процитировать Исаака Уолтона: что Пискатор говорит

Венатору, когда они сидят у ручья за завтраком в утро первого урока ловли форели. Меня поразила уместность этих слов для темы различения в проповеди. Если запомните, они могут помочь, когда сами станете «ловить форель на червя», и составить вполне подходящее правило настоящей своевременности на кафедре. «Примите это за правило, — говорит он: — когда ловите форель на червя, пусть на леске будет столько свинца и не больше, сколько подходит ручью, где вы ловите; то есть в большом и бурном потоке больше, чем в меньшем и спокойном; по возможности ровно столько, чтобы опустить наживку на дно и всё же сохранять её движение, и не больше». Вес и движение — вот что нам нужно и в рыбной ловле, и в проповеди.

[23] Поскольку община такова, позвольте в оставшиеся сегодня минуты спросить, что она может сделать для проповедника — и в помощи, и в опасности.

[24] Она помогает ему вдохновением своей многочисленности, смелостью и свободой смягчённой личностности, более широкой проверкой его труда. Судить о действии работы по одному человеку ненадёжно; но, когда община выносит суждение не ненадёжным свидетельством похвалы, а явной переменой своего состояния, более высокой жизнью, более полной преданностью, она никогда не ошибается. Не презирайте свидетельства о вашей верности или неверности даже самого малого из ваших людей. Когда действительно идёт дождь, о нём свидетельствуют и лужи, и океаны. Доверяйте суждению людей о вашем труде: тому, что они говорят, — в значительной мере, но тому, что он с ними делает, — гораздо больше.

25 И я не могу не засвидетельствовать справедливость и внимательность, присущие этому странному составному существу — общине. Её проницательность весьма верна, а совесть в целом весьма здрава. Если она видит, что служитель всецело ей предан и отдаёт жизнь своему труду, то поддерживает его и щедро обеспечивает. Если видит, что он хорошо заботится о собственных интересах, то позволяет ему это делать, как позволила бы любому другому, и сама этим не тревожится, не имея на то оснований. Чувствует служитель общину или нет, община чувствует служителя. Часто лошадь знает всадника лучше, чем всадник лошадь. Возможно, есть исключения, не оправдывающие моей уверенности. Во всех лекциях я даю лишь впечатления, вышедшие из собственного опыта. Уверен, будет хорошо, если вы никогда не позволите себе жаловаться на пренебрежение общины, не спросив сначала, дали ли ей хоть какое-то основание заботиться о вас.

26 В самом деле, опасность общины для служителя исходит больше из её снисходительности, чем из противодействия. Очень примечательно, как сильнейшие служители чувствуют поверхностность церковной популярности. Казалось, ничто так не раздражало Робертсона, как разговоры о нём как о кумире толпы. В этом отношении он поистине болезненно чувствителен и ненавидит то, к чему достаточно было бы оставаться равнодушным. Для сколько-нибудь независимого человека простая популярность должна казаться самым сухим из плодов Мёртвого моря. И основания для этого есть. В громких рукоплесканиях даёт себя услышать худшая и слабейшая часть общины, и она рукоплещет тому в вас, что ей нравится. В одном письме Робертсон говорит о друге: «Он утратил свою силу, некогда

величайшую из всех мне известных. Сентиментальные люди его общины приписывают это возрастанию духовности; в действительности же это упадок силы охвата». Эти слова подсказывают причину увядания многих служителей — Капую, где погиб не один проповедующий Ганнибал. «Turba est argumentum pessimi», — говорит Сенека: «Толпа — признак худшего». Есть и другие причины, способствующие такому впечатлению, но всё же в убеждении, что многие лучшие мысли и проповеди страны рождаются в безвестных приходах у безвестных проповедников, есть истина. Подлинное равновесие, если бы мы только могли его достичь и удержать, очевидно, состоит в том, чтобы не добиваться народных рукоплесканий и не презирать их, чувствовать их, как всякий здоровый человек чувствует одобрение ближних, но никогда не позволять им увлечь себя от единственной истинной цели труда — Божьей истины и человеческого спасения.

27 И помните: единственный способ спастись от яда людской лести — быть по-настоящему преданным благу этих же людей. Если вы действительно хотите вытащить человека из огня, вас не отвлекут в самолюбование его похвалы изяществу и мягкости протянутой руки. Вы скажете: «Перестань рассыпаться в любезностях и хватайся».

28 Популярность служителей — действительно любопытный предмет, вполне заслуживающий нескольких минут изучения. Мы, думаю, едва сознаём, насколько желание популярности в нашей стране и эпохе заменило честолюбивое стремление к повышению, о котором читаем в истории английского духовенства и которое столь сильно и справедливо вызывало наше

отвращение. Тот, кто там искал милости епископа или другого покровителя, здесь торгуется за расположение множества. Едва ли стоит спрашивать, какое честолюбие вызывает более низкие приёмы и приносит больший вред. Оба очень дурны. Всем сердцем стремиться к популярности — гибельно для лучшего роста проповедника. Для освобождения от этого желания нужно знать: люди, никак не являющиеся любимцами публики, выполняют значительную долю самого лучшего труда служения. Во всякой работе, кажется, обычно есть два разряда работников: у одних виден процесс труда, у других — только результаты. Большинство популярных проповедников, по-моему, относится к первым и именно этой черте обязано популярностью. Людей интересует не только сделанное, но и способ. Не только сила возвещаемой истины, но и красноречие проповедей, в которых она звучит. Не только благотворное влияние, но и благотворная манера его оказывать: улыбка, тон, прозрачный вид доброго сердца. Пусть человек поймёт это — и, несомненно, не потребуется ни слишком глубокой философии, ни особой преданности, чтобы отказаться от популярности, если можно выполнять дело. Популярность случайна, сила существенна.

[29] И несомненно, отсутствие живого народного расположения помогает служителю замечать более широкие признаки успешного действия своей истины. Рукоплескания подчёркивают малый успех и искушают им довольствоваться. Работающий в тишине начинает сознавать более крупные движения истины и более надёжные завоевания Божьей силы. Малые знаки отсутствуют; нигде нет блеска оружия и победных криков, но часто сама тишина позволяет яснее услышать великое продвижение по всему полю.

30 Кроме того, люди сильно различаются смотря по тому, кажутся ли они сами обладающими качествами и состояниями, которые стремятся создать в других, или лишёнными их. Одни сами все в огне и словно зажигают других заразительностью; другие кажутся холодными, но испускают огонь из самой своей холодности. Одни полны движения и потому приводят других в движение; другие кажутся вялыми и всё же пробуждают в других жизненность, которой словно не обладают сами.

> 31 «Огромный вал — как медленно он сам вращается! — кружит десять тысяч веретён».

32 В целом популярность, быстрое всеобщее сочувствие и восхищение достанутся первому разряду. Другие совершат своё дело в тишине, с большой силой, но без большого внимания.

33 Быть своим лучшим собственным «я» ради своих людей — вот истинный закон преданности служителя. «Loquendum ut multi, sapiendum ut pauci» — мысль немногих в речи многих: это описывает народную силу, которой всякий проповедник не только вправе, но и обязан желать.

34 Итак, все отношения между проповедником и общиной ясны. Они принадлежат друг другу, но ни один не может поглотить или подавить другого. Они должны быть исполнены взаимного уважения. Он их руководитель, но его руководство — не постоянное натяжение и никогда не забывает высшего водительства, на которое полагаются оба. Это похоже на канат, которым один корабль выводит другой в море. Канат между ними не всегда натянут, а всё это время прилив, на котором они плывут, несёт обоих.

Поэтому дело не сводится к тому, что один ведёт, а другой следует.

35 Это одна из высших картин человеческого содружества, какие можно увидеть на земле. Её постоянное присутствие придавало христианству во все века многие из самых благородных и нежных его красок. В ней много семейной близости и нечто от широты и достоинства государства. Она слишком священна, чтобы мыслить её договором. Это союз, который Бог соединяет ради целей, достойных Его попечения. Когда он достойно осуществлён, кто скажет, что он не может простираться за черту смерти, а те, кто здесь были друг для друга служителем и народом, не могут вечно оставаться чем-то святым и особенным друг для друга в Граде Божьем?

Лекция 7. Служение в нашу эпоху

[1] Сегодня я буду говорить с вами о проповеднике в его особом отношении к нашему времени. Если вдуматься, странно, пожалуй, звучит уже само предположение, что проповедник Евангелия должен быть чем-то особенным применительно к той особой эпохе, в которую он живёт. Ведь мы говорили об одной всеобщей и вечной вести, с которой проповедник послан в мир. Эта весть никогда не меняется. В её неизменной сущности — неизменная сущность христианства. Более того, с нею связана и сама сущность человека; и пока человек остаётся тем, что он есть, то, что Бог говорит ему через Своих служителей, несомненно, всегда будет одним и тем же. Поэтому и проповедник, несущий эту весть, должен сохранять свою истинную сущность, во все века представать перед людьми в существенно одном и том же образе и говорить существенно одним и тем же голосом. Где же тогда место приспособлению проповедника к своей эпохе? Лучшим ответом, пожалуй, послужит пример того положения, которое всякий живой и образованный человек занимает по отношению к своему времени. Прежде всего он — человек во всеобщей истории человечества. Ему принадлежат права, обязанности и мерила, относящиеся ко всем людям просто как к людям. Чем он сильнее и мудрее, тем действительнее для него эта более широкая жизнь. Он знает, что проживёт свою особую жизнь здоровее для себя и полезнее для братьев, если будет помнить, а не забывать своё место в общем и непрерывном человеческом бытии. Это сохранит верность его взгляда. Нередко это убережёт его независимость,

когда ей будут угрожать преходящие страсти данного часа. И всё же он живёт своей особой жизнью. Он — человек своего времени, всецело заинтересованный в вопросах, волнующих окружающих; его огорчают беды, радуют радости, занимают задачи его эпохи. Широта его человечности и образованности делает его человеком всех времён; живая энергия, отзывчивость, здоровые побуждения и действительное желание трудиться делают его человеком своего дня. Все мы видим идеальную полноту такой жизни. Всякий раз, когда нам встречался человек, хоть сколько-нибудь её достигший, мы чувствовали, как он целен. Неполнота людей возникает там, где они уклоняются от этого в ту или другую сторону. Человек, принадлежащий миру, но не своему времени, становится отвлечённым и неопределённым и не умеет крепко взяться за человеческую жизнь и нынешние причины человеческих поступков. Человек, принадлежащий своему времени, но не миру, становится мелким и поверхностным.

[2] Совершенно то же относится к проповеднику. Существуют постоянные, неизменные потребности людей и весть, обращённая к этим потребностям и разделяющая их неизменность; а затем существуют вечно меняющиеся обличья этих потребностей, которым тон вести, если она действительно должна достигнуть нуждающейся души, обязан разумно и сочувственно соответствовать. Первое рождается из более широкой жизни проповедника, из изучения вневременного Слова Божьего, из его общения с Богом в истории, личного общения с Учителем и знания тех глубин человеческой природы, которые никогда не меняются, какие бы волны перемен ни тревожили поверхность. Второе рождается из постоянного бдительного наблюдения за событиями и признаками

текущего времени — наблюдения, вызванного глубоким желанием, чтобы спасение мира, совершающееся всегда, проявилось здесь и сейчас в спасении именно тех людей, к которым обращается проповедник. Если оставить в стороне различия природных дарований и личной преданности делу, ничто так не определяет различные виды, равно как и различные степени успеха служителей, как наличие или отсутствие этого равновесия и соразмерности общего и особенного, сознания мира и сознания своего времени. Отвлечённый мыслитель прокладывает глубокие ходы рассуждений далеко в стороне от крепостей, где ныне укрепился грех, и их тяжёлые взрывы не сокрушают ни одного камня нынешнего зла; какие бы другие добрые дела он ни совершал, как проповедник людям он терпит неудачу. А человек, который только критикует своё время, не имея ни глубоких начал, ни далёких надежд, весело или яростно сшибает уродливые головы пороков своей эпохи лёгкой тростью или доблестным мечом; он тоже терпит неудачу и со временем утомляется и огорчается, обнаружив поверхностность всех исправлений, к которым привёл своих обращённых. Проповедь первого рода утомляет людей, когда они жалуются на то, что называют очень глубокой, но очень скучной проповедью. Проповедь второго рода оставляет ощущение недоделанности: люди возвращаются домой, всё ещё слегка возбуждённые тем, что называют сенсационной проповедью, и всё же недовольные. Первый стремился к истине, не заботясь о своевременности. Второй так заботился о своевременности, что, возможно, исказил истину и уж несомненно лишил её полноты. Истина и своевременность вместе создают полноценного проповедника. Как вам обрести такую полноту? Позвольте

высказать одну-две общие мысли; подробности способа, если удастся, будут выясняться на протяжении всей лекции. Во-первых, всегда ищите прежде истины, а затем своевременности — никогда не ставьте своевременность первой, а истину второй. Далее, пусть ваше искание истины будет обдуманным, последовательным, добросовестным. Искание же своевременности пусть состоит скорее в стремлении к глубокому сочувствию людям, к действительному участию в их занятиях и живому интересу к происходящему. И ещё: пусть предметами ваших проповедей будут преимущественно вечные истины, а своевременность входит через пояснение этих истин событиями текущей жизни и применение к ним. Так, проповедуя слушателям, вы будете расширять их мышление, а не суживать его.

3 Таковы общие замечания. Теперь обратимся к интереснейшей эпохе, в которой мы живём и поставлены проповедовать. Я хочу отметить две-три наиболее широкие её особенности и посмотреть, как они воздействуют на труд проповедника. Я не берусь за такую задачу, как общая оценка характера нашего странного столетия и нашей страны. Я хочу лишь указать некоторые черты, непосредственно касающиеся нас с вами, и по возможности понять, как нам к ним относиться. Позвольте поговорить об отношении нашего времени к истине и жизни вообще, к служению и к Библии.

4 Прежде всего, в умах нынешних людей есть некоторые смутно осознанные, но действительные затруднения, на которые наталкивается проповедуемое нами Евангелие. Мы встречаем их в самых разных формах. Их дух проявляется на таких ступенях умственного развития, где невозможно понимание их теоретических формулировок.

Самое распространённое, самое удивительно тонкое и всепроникающее из них — представление о судьбе со всеми его последствиями для понятий ответственности и даже для основного понятия личной жизни. Мы так заняты наблюдением за развитием фаталистической философии в её более высоких и научных формах, что, думаю, часто не замечаем, до какой степени и в каких неожиданных видах она проникла в обыкновенную жизнь и управляет человеческими мыслями о повседневных вещах. Представление о неизбежной беспомощности, о невозможности сколько-нибудь сильной власти человека над собственной жизнью, а вместе с тем ослабление мысли об ответственности: начав с возвышенного понятия об ответе человека перед Богом, она снижается до одной обязанности перед обществом, затем — лишь до ответственности за вред самому себе и наконец доходит до полного отказа от всякого суда и подотчётности, — всё это встречается гораздо чаще, чем мы воображаем. Оно проходит через все нисходящие степени осознанности. Нет ничего удивительнее, чем наблюдать, как разумные умозрения учёных становятся смутными предрассудками простонародья. Ничего нельзя запереть за дверью учёного кабинета. К добру ли, ко злу ли, всё, о чём думают мудрейшие, в той или иной форме становится основанием жизни невежественных. Отчасти действует это, отчасти — сила прямо противоположного направления. Отчасти единство учёных со всеми их братьями побуждает их брать для исследования то, к чему уже обратился интерес необразованных, и придавать философское выражение идеям, по которым самые неотёсанные люди строят свою жизнь. Каким бы ни было взаимодействие этих двух причин, результат перед нами: некий привкус фатализма повсюду вокруг нас. За ним

следуют неизбежные последствия — безнадёжность и скованность, пронизывающие всё общество и влияющие на всякое действие; в разных натурах они различны, в одних жёстки и вызывающи, в других мягки и изнеженны, но во всех своих видах делают людей неспособными к высшему счастью, высшему росту или высшей полезности ближним. Вот что рассеяно в обществе, где мы живём. Вот к кому вам предстоит обращаться с проповедью, мои юные друзья. Вы не избежите этого, служа одному сословию вместо другого, потому что оно проникает всюду. Вы оставите его в кабинете и найдёте в новом виде в мастерской. Вы заставите его умолкнуть в тупом ворчливом недовольстве грубого человека и услышите вновь в спокойной, покорной и возвышенной философии мудреца. Какой проповедью можно ему противостоять? Несомненно, можно указать главные черты той единственной проповеди, которая способна ему противостоять. Она должна быть положительной, утверждающей. Никогда отрицательная проповедь, простое утверждение того, что неверно, не обнаруживала такой бесполезности, как сегодня. Бесполезно доказывать фаталисту несостоятельность фатализма. Он и сам по-настоящему в него не верит; ему только кажется, что он не способен поверить во что-либо другое. Вы опровергаете фатализм — и лишь добавляете ещё одну вещь к груде невероятного. Вы должны проповедовать утвердительно, говорить ему, что истинно, ставить Бога перед его сердцем и звать его узнать своего Господа. И проповедь должна обращаться к совести. Совесть — последняя часть нашей личности, умирающая смертью фатализма. Она должна первой пробудиться к преимуществам и обязанностям личной жизни. Дайте человеку узнать, что он зол и может стать добрым, — и

его собственное «я» и Божье «Я» станут для него действительностью, в несуществовании которой никакая словесная игра уже не убедит его. И, в-третьих, никогда эпоха так не нуждалась в проповеди Христа, личного Христа. В Его личности растерянная душа должна вновь найти собственную личную жизнь. В служении Ему она должна вновь открыть возможность и преимущество долга. Такой проповедью следует вторгнуться в преследующий людей скептицизм. Сомнение, выросшее так смутно и не умеющее дать в себе отчёт, нужно заслонить сверху и подкопать снизу: заслонить живым величием Бога во Христе, подкопать сознанием греха и необходимости праведности. Единственная надежда полностью рассеять его — вызвать к жизни христианскую жизнь, которая сама служит себе удостоверением, заявляет о собственной свободе и пророчествует о собственных возможностях.

[5] Я говорю об этой склонности сомневаться в духовных и личных силах главным образом в том виде, как она проявляется во всех движениях общества и в жизни обыкновенных людей. Здесь мне немногое нужно сказать о том, как проповедник встречается с нею в научных теориях, в догадках о философии вселенной, которыми так изобильно снабжают нас мыслители нашего времени. Но невозможно сегодня слушать проповеди и не поражаться тому, как смутно сами проповедники, по-видимому, понимают цель проповеди и назначение проповедника. Среди проповедников, занятых тем, что делает и говорит современная наука, легко различить несколько разрядов. Одни считают себя вправе компетентно критиковать работу специалистов и пересматривать их суждения даже о тех предметах, в которых именно специалисты должны быть авторитетами.

Они берутся самоуверенно судить о результатах научного исследования с такой поспешной решительностью, какой никогда не потерпели бы в отношении собственных специальных предметов. Не нужно объяснять, как они отдают себя во власть тех, кого критикуют. Материал для критики они могут получить только от них. Едва оставив область общих рассуждений и попытавшись коснуться научного факта, они вынуждены искать факты у тех, кого в данный момент считают противниками. Они оказываются в своего рода беспомощности, до которой были доведены израильтяне, когда покорившие их филистимляне заставляли каждого приходить к своим кузнецам точить сошник, лемех, топор и заступ. Другой разряд, по-видимому, готов не только отказаться от притязания на компетентную критику, но и с опрометчивым усердием принимать всякий мимолётный вывод современной науки прежде, чем сам научный мир научится считать его чем-то большим, нежели вероятная гипотеза; и чем полнее этот вывод кажется противоречащим христианской вере, тем охотнее они его принимают. Думаю, никто не станет отрицать, что среди нынешних последователей естествознания есть люди, удивительным образом воспроизводящие на собственной почве все оскорбительные и надменные особенности жреческого властолюбия, исторические злодеяния которого они так охотно и справедливо порицают. Это любопытное свидетельство того, что человеческая природа в основе своей одна и та же: если она дурна, она проявит одну и ту же дурноту, будь на ней стихарь священника или профессорская мантия. Перед этим властным самомнением второй разряд всегда спешит пасть ниц. Дух обоих этих разрядов, конечно, нехорош. Дурно и то и другое: и та самоуверенная компетентность,

с которой одни священнослужители пытаются судить о ценности научных теорий, и та паника, в которой другие словно ждут лишь первого человека с молотком или микроскопом, чтобы сдаться ему по первому требованию. Есть и ещё один разряд, который, по-видимому, просто испуган. Чувство смутной, неизбежной опасности постоянно преследует тех, кто ощущает полную неспособность овладеть тем, чего боится, или хотя бы понять его. Они ненавидят и страшатся самого имени науки. Если бы могли, они действительно, буквально, заставили бы её прекратить исследования. А пока охотно выдумывают или принимают какую-нибудь чрезвычайно причудливую и преувеличенную форму церковного управления, обряда или учения, облекают её искусственной святостью и ставят на пути наступающего чудовища, чтобы его остановить, — подобно тому как китайцы, по рассказам, нагромождали на рельсах свою священнейшую посуду, чтобы преградить путь первому локомотиву, с грохотом мчавшемуся по их земле. Всякий фанатизм тесно связан со страхом. Вот с какими настроениями некоторые служители встречают дух времени. Таковы различные разряды. Среди них появляется новый служитель, останавливается и спрашивает: «К какому мне принадлежать? Неужели нет ничего лучшего?» Несомненно, есть. Мы с вами можем взять факты духовной жизни и возвещать их с такой же подлинной уверенностью, с какой любой проповедник возвещал их в так называемые «века веры». Сегодня они столь же истинны, как и всегда. Люди столь же готовы ощутить их истинность. Духовная природа человека со всеми её потребностями столь же действительна, и Христос столь же истинно и полно её удовлетворяет. Обращаться к ней и предлагать ей Его — наше с вами

преимущество. И при этом не оставаться равнодушными к тому, что думают рядом с нами; следить за их мыслью, по мере возможности понимать её всю, но всегда следить с желанием увидеть, что она скажет не для разрушения, а для укрепления и расширения проповедуемой нами истины; следить, сознавая, что она может изменить наше понимание и изложение истины, но нисколько не боясь, что она когда-либо уничтожит саму истину, — вот, как мне кажется, должное расположение духа современного проповедника. Наша истина стоит на собственных свидетельствах, но связана со всей истиной, которую люди так чудесно узнают повсюду. Слушать, что они узнают, чтобы не проверять, истинна ли наша истина о душе и о Боге, а прийти к более верному и широкому её пониманию, — вот наше место. Если мы сумеем его занять, оно даст нам и твёрдость, и свободу; освободит и от бесплодности сомнения, и от бесплодности слепой приверженности.

6 Мне чудится странная паника на лицах сегодняшних служителей. Я видел множество проповедников, собравшихся послушать человека, который излагал научные теории с религиозной стороны; зал гремел шумными рукоплесканиями по поводу утверждений, которые могли быть истинны или неистинны, но истинности которых слушатели заведомо не исследовали. И аплодировали они, несомненно, не истине, а тому, что эти утверждения поддерживали их сторону в споре. Думаю, это неприятное зрелище для всякого, кому действительно дороги достоинство и чистота его призвания.

7 Проповедник должен опираться прежде всего на силу того, во что верит, а не на слабость того, во что не верит.

Сильным его должна делать мощь духовности, а не бессилие материализма. Никто не побеждает — и ни один настоящий человек не пытается победить — одной лишь беспомощностью противника. Думаю, только что описанная мною сцена была печальна главным образом потому, что наводила на мысль о недостатке веры у самих служителей. И возникало опасение, что это связано с их упорной приверженностью некоторым несостоятельным наростам на вере, которые они решили считать частью самой её сущности. Так слепая приверженность и трусость всегда идут вместе.

8 Однако в такие дни мы нередко возвращаемся к простейшим истинам, касающимся всего дела веры. Если то, чего мы, христиане, держимся, может быть опровергнуто или нуждается в изменении, то чем скорее нам это откроется, тем лучше. Ведь если мы достойные христиане, то стали ими потому, что прежде всего любим истину. А если наша истина вполне истинна, она принадлежит Богу прежде, чем нам, и мы можем доверить Ему хотя бы часть заботы о ней. Мы так склонны оставлять Его в стороне.

9 И всё же из чрезмерного неверия нашего времени рождается одно сильное чувство, заключающее в себе нечто обнадёживающее. Проповедник и пастырь видит в человеческой природе то, что удостоверяет его в сущностной религиозности человека. Он приходит к полному убеждению, что только религия способна ниспровергнуть и заменить религию. Совершенно нерелигиозный человек для него даже немыслим. И потому, сколько бы он ни тревожился за отдельные души, сама безоговорочность столь многих нынешних отрицаний словно обещает прочность веры.

10 Но главное — знать собственную почву как людям духовным и стоять на её надёжной, испытанной прочности. А испытать эту прочность можно только собственным опытом; так мы вновь возвращаемся к прежней первоначальной истине: за служением стоит человек, и то, что есть в проповеди, прежде должно быть в проповеднике.

11 Отсюда должна исходить всякая полезная помощь, какую мы способны оказать растерянным и утратившим веру людям в эти тяжёлые времена. Если вы хотите помочь материалистам, это, вероятно, произойдёт не через научное опровержение материализма. Это произойдёт через сильное, живое предложение духовной действительности. Служителя делает сильным не то, что он знает о науке, а то, как он постигает и представляет свои духовные истины. Многие неучёные служители разрешают затруднения людей, гораздо более сведущих, чем они сами. Я могу ничего не знать об умозрительном атеизме. Решающее значение имеет то, как я знаю Бога.

12 Я не принижаю полемику. Богословие должно быть готово отстаивать свою почву перед всяким противником. Если оно утратит способность нападать и защищаться, оно утратит жизнь — как прежде говорили, что пчела, лишившись жала, лишается своего трудолюбия и пыла. Но не всякий служитель создан быть полемистом, и кафедра создана не для полемики. Кафедра должна утверждать: возвещать свою весть, доверять её силе, ожидать, что она сольётся в гармонии со всякой другой истиной, наполняющей мир; и проповедник, кем бы он ни был в другом месте, на кафедре тоже должен утверждать — гораздо больше возвещать истину, чем отрицать заблуждение. Ничто не могло бы сегодня причинить

христианству большего вреда, чем поворот множества проповедников от проповеди Христа, Которого они понимают, к обсуждению научных вопросов, которых они не понимают. Выслушайте итог всего сказанного. Утвердительно проповедуйте то, во что верите. Никогда не проповедуйте того, во что не верите, и не отрицайте того, во что верите. Радуйтесь преимуществу возвещать Бога. Пусть ваши слушатели откровенно понимают из вашей проповеди, что многого вы не знаете и что и вы, и они ожидаете более полного света.

13 Я не должен дольше задерживаться на этой теме. Да поможет вам Бог быть мудрыми и верными, когда вы постоянно будете с нею встречаться.

14 Другой вопрос, в некоторых особых отношениях принадлежащий нашему времени, — вопрос терпимости, отношения истины к неполной истине и заблуждению. Как и всякий глубокий, всепроникающий вопрос, он имеет особый облик для учёных и для неучёных. К учёному он приходит вместе с размышлениями о сравнительном изучении религий, которым расширившееся знакомство с другими странами и эпохами дало столь обильную пищу. Неучёному он предстаёт в распространённой склонности ставить поведение выше верования и спрашивать не о том, каких взглядов человек держится, а о том, какую жизнь ведёт. В обоих случаях наше время, несомненно, склоняется к терпимости. И учёный, и невежда одинаково довольствуются тем, что соседи думают о религии иначе, чем они. Угасло даже желание отправлять людей на костёр. Мы оглядываемся на шестнадцатое и семнадцатое столетия и изумляемся чудовищности фанатизма. Все мы благодарны за прогресс; но часто, читая книги нашего

времени или беседуя с друзьями, мы испытываем вторгающееся сомнение. Сколько в этой терпимости равнодушия? Сколько среди благосклонных к чужим верованиям людей таких, кому безразлично собственное? Насколько наше отличие от ревнителей семнадцатого века вызвано ослаблением нашей приверженности истине? Они верили всем сердцем и были нетерпимы; мы стали терпимыми, но уже не верим так, как верили они. Прежде чем присвоить себе право судить их нетерпимость, мы должны понять силу их убеждения. Очень часто мы всего лишь стараемся не причинять друг другу вреда. Мы подобны пароходам, стоящим в тумане и подающим гудки, чтобы не столкнуться с другими и чтобы другие не столкнулись с нами. Это безопасно, но торговля от этого мало продвигается, и большого искусства мореплавания это не доказывает. И тогда возникает образ более высокого состояния, нежели достигнутое в семнадцатом или девятнадцатом веке. Мы видим, что здесь, как и повсюду, человечество продвигалось хромая и неловко: сначала вытягивало вперёд одну сторону, а затем лишь постепенно подтягивало к ней другую. Было время, когда любовь людей к истине опережала их любовь к личной свободе. Теперь, как мы видим, наша любовь к личной свободе опережает любовь к истине. Мы предвидим время, когда любовь к истине догонит нашу любовь к свободе и люди будут одновременно сердечно терпимыми и глубоко верующими. Когда это придёт, в мире появится нечто новое. Такое встречалось в прекрасных или великих отдельных личностях, рассеянных по всем векам; но не было эпохи, когда основная масса мыслителей одновременно была бы тверда в положительной вере и терпима к различию мнений.

15 Несомненно, служитель обязан насаждать положительную веру. Мы радуемся, что его обязанностью признано также воспитывать любовь и терпимость. Поэтому именно на служителе, по-видимому, покоится надежда на то лучшее грядущее время, когда обе вместе станут благословением миру. Посещая своих прихожан, он постоянно печалится об их неестественном разлучении. Он слышит, как член его церкви говорит об истине. Он слушает ясное изложение Евангелия, мудрые и здравые различения, верные Писанию объяснения тайн Бога, человека и благодати. Всё это произносится с глубоким жаром, показывающим, как человек любит познанную истину. Проповедник говорит: «Какая ясность! Какая вера!» — и радуется своему ученику. И тут с пылких уст случайно срывается слово, показывающее, с каким отчуждением, почти неприязнью, этот верующий смотрит на людей, понимающих истину иначе, с каким чувством узкой и исключительной привилегии дорожит своей правоверной верой. Или прямо противоположный случай: слушатель ваших проповедей восхищает вас горячей любовью ко всем религиям, пока не выясняется, что собственной действительной религии у него нет. Он порицает фанатика, даже не подозревая о той напряжённой вере, которая сделала фанатика тем, что он есть. В обоих случаях результат вашего труда, проявившийся в этих двух людях, разочаровывает. Вера и любовь ещё не соединились должным образом. Милость и истина ещё не встретились. И, возвращаясь домой после двух приходских посещений, вы задумываетесь, что можно сделать для их соединения. Вот что служитель действительно может сделать. Я не выражаю этого в особых правилах. Я их не знаю. А если бы знал, не счёл бы ни своего, ни вашего времени достойным того, чтобы

приходить сюда и повторять мелкие приёмы моей работы, которые вам не помогут. Я даю здесь, как старался делать всё время, только начала; благодать Божья и ваш здравый смысл, если у вас есть и то и другое, найдут для вас их применение. Во-первых, проповедник может всегда настаивать на том, чтобы сам он и его прихожане видели в учениях средства, а не цели. Тогда, если другие люди менее совершенным образом достигают тех же целей при помощи иных учений, он сможет радоваться достижению цели, не бесчестя и ни на йоту не умаляя ценности истины, которая, как ему представляется, гораздо прямее и полнее ведёт к великому свершению. «Учитель, — сказал Иоанн, — мы видели человека, изгоняющего бесов Твоим именем, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, совершив чудо Моим именем, не сможет вскоре злословить Меня. Кто не против нас, тот за нас». Полагаю, миновало время, когда люди укрепляли в себе сознание важности Евангелия, преимущества слышать его и обязанности нести его язычникам утверждением, что ни один язычник, не слышавший его, не может спастись. Но нечто от этого духа остаётся среди нас. Грубые формы заблуждения нередко исчезают раньше мягких. Многие люди, многие служители склонны подчёркивать ценность истины для себя, утверждая или хотя бы подразумевая последствия её отвержения ближними, которые, по их собственному действительному убеждению, вовсе не наступили бы. Отказ от такого образа мыслей и речей был бы большим шагом к желанному соединению веры и любви.

16 Далее, проповедник может усердно и разборчиво стремиться распознать добро в сердце той системы, к которой относится терпимо; терпя её ради этого добра, он

сохранит неповреждёнными свои безусловные мерила и любовь к собственной истине. Слабость значительной части нашей терпимости к иным системам заключается в её неразборчивости. Это всего лишь чувство. Оно полагает нетерпимость узостью и потому говорит: «Давайте же будем терпимы»; но никогда не выделяет той души добра во злом или лишь наполовину добром, которая позволила бы сердечно терпеть их и радоваться их существованию. Поэтому, расточая им дешёвые и бессодержательные похвалы, такая терпимость часто не имеет к ним настоящего сочувствия и под похвалами скрывает презрение или ненависть. Именно такая терпимость царит на юбилейных трибунах, где собираются разные исповедания, где люди будто забыли о всяких различиях между собой, а затем возвращаются на свои кафедры без заметного уменьшения той слепоты, с которой совершенно неверно понимают положение соседа, проповедующего на следующей улице. Терпимость как простая мода и чувство очень слаба. Она должна изучать и ценить добро в том, что ценит. Разглядеть положительные истины, лежащие в основании римско-католических заблуждений, — единственный путь к сердечной терпимости по отношению к римскому католицизму при ясном и твёрдом сохранении собственной протестантской веры.

[17] Глубокая вера может соединяться с горячей любовью, и нам, проповедующим Евангелие Христово, надлежит всей жизнью и проповедью показать эту возможность. Цените цели жизни больше её средств; всегда ищите душу добра во злом и душу истины в ложном, — и помимо более богатого влияния, которое ваша жизнь окажет на всех, кому вы служите, вы сделаете нечто для разрешения этой нерешённой задачи человеческого ума и сердца:

примирения сердечной терпимости с твёрдой положительной верой.

[18] Я говорил о некоторых умственных особенностях нашего времени, с которыми проповеднику предстоит встретиться. Они весьма заметны. Но есть и другие особенности иного рода, почти столь же настойчиво обращающие на себя внимание. Мы говорим о научном характере нашей эпохи. Мы представляем её всецело преданной поиску знания. Между тем огромная, преобладающая часть нынешней деятельности вовсе не научна. Думаю, нельзя сказать, что происходящие вокруг нас торговые, общественные и политические движения обладают большим научным духом, большей склонностью возвращаться к фактам и доверять установленным началам, чем эти же движения обладали всегда. Беда этих великих, непрерывных и всеобщих жизненных интересов, несомненно, связана с опасностью, подстерегающей научное исследование. Мы должны бояться такого возвеличения вторичных причин, при котором забываются первопричина и конечная причина вещей. Проповедуя, нам необходимо помнить, с какой огромной силой эта опасность теснит жизнь мужчин и женщин, к которым обращена наша проповедь. Они живут среди напряжённого, но поверхностного возбуждения, возникающего от неестественно яркого и исключительного восприятия вторичных причин. Деловому человеку кажется, что богатство — царь всего, что оно создаёт репутацию, создаёт счастье, почти создаёт характер. Светскому мужчине или женщине кажется, что мода, пребывающая в некой высшей недоступности своей царственности и оттуда издающая бесспорные повеления, — верховная распорядительница судеб. Нас ужасает ныне та откровенность, с которой

люди признают: их представления о силах, управляющих вещами, останавливаются на этих непосредственных причинах — богатстве, моде и чувственных удовольствиях. Они даже не соблюдают видимости признания какой-либо духовной силы за ними. «Увы, теперь уже нет лицемеров!» — воскликнул во Франции прошлого века аббат Пулль. И это действительно было симптомом. Так устроено человечество: когда люди уже не дают себе труда создавать подделку, это доказывает, как мало почитается подлинник; и само равнодушие людей к тому, чтобы хоть притвориться думающими о высших причинах, показывает, насколько низшие причины поглотили их внимание и пытаются удовлетворить их потребности.

[19] Вот мир, которому мы должны принести Евангелие — повествование, начинающееся словами «Бог сотворил небо и землю» и продолжающееся рассказом о Божьей силе и любви вплоть до пророчества о духовном Судном дне. Что мы можем сделать, чтобы это повествование о единой первопричине достигло сердца нашей жадной, лихорадочной эпохи, поклоняющейся своему пантеону вторичных причин? Прежде всего, братья мои, которым предстоит стать пастырями Церкви, мы можем бдительно заботиться о том, чтобы сама Церковь была верна своей вере в Бога как источник всякой силы. Один из страшнейших признаков того, как дух корысти наполнил мир, — прискорбная степень, в которой он проник в Церковь. Мы постоянно видим, как Церковь полагается на вторичные причины, словно ей неведома первопричина. Она совершенствует свои механизмы, будто сила заключена в них. Она с шапкой в руках идёт к дверям богачей, льстит им и не смеет говорить об их грехах, потому что ей нужны их деньги. Она позволяет своим

должностным лицам вести дела всеми хитростями биржевой сделки или политической интриги, а отличие своих мерил и свободу от ответственности проявляет разве что в уловке, которой не допустила бы даже совесть биржи или партийного собрания. Она унижает достоинство своего великого поручения ребяческими способами собирать деньги и лихорадочными стараниями оставаться на виду у публики — стараниями, уместными лишь для корыстного честолюбия цирковой труппы. Вы должны изгнать всё это из церкви, с которой связаны, иначе её кафедра окажется совершенно бессильной говорить о Боге нашему времени, порабощённому богатством и любящему удовольствия. Сначала вы должны показать, что Его Церковь верит в Него, доверяет Ему и находит в Нём удовлетворение, иначе вы напрасно будете взывать к людям, зовя их прийти к Нему. Для этого недостаточно только выбросить за дверь постыдную мишуру церковной жизни, о которой я говорил. Вы должны настолько верить в человека как дитя Божье, чтобы сразу проповедовать ему высшую духовную истину о его Отце. Многие благонамеренные проповедники, думаю, здесь совершенно неправы. Они говорят: «Нужно брать людей такими, какие они есть. Нужно обращаться к тем способностям и восприятиям, которые в них уже пробуждены». И потому, видя остроту хозяйственного расчёта в наше торговое время, проповедуют хозяйственную выгоду добра. Они показывают людям, как окупается святость. Им известно, что есть высшая истина, но они не верят, что люди её услышат. Они надеются понемногу привести их к ней позднее. Ах, это совершенно неверно. В сердце каждого человека — если бы вы только могли ему довериться! — есть способность ценить подлинную духовную истину, пробуждаться Божьей

любовью к бескорыстной благодарности. Тот, кто доверяет этой способности, постоянно её находит. Сотня людей стоит на берегу, подобно испанским вельможам, и говорит: «Не смейте отплывать далеко. Там нет земли. Оставайтесь здесь и развивайте то, что у нас есть». Один смелый и доверчивый человек, подобный Колумбу, верит в целостность целого мира, плывёт к прекрасной земле за морем и находит её. Успешный служитель — тот, кто посреди корыстной эпохи доверяет сердцу человека, дитяти Божьего, знает, что оно не целиком корыстно, и смело говорит ему о Боге, его Отце, словно ожидает ответа. И сердце отвечает; а другие проповедники, которые не верили в человека, говорили с ним на низком уровне и проповедовали ему половинчатые евангелия, считая это пределом его способности воспринять, смотрят и дивятся необъяснимому успеху своего собрата. Примеры этого были всегда. Никогда они не были ярче, чем в наше время. При всей корыстности нашей эпохи самыми сильными проповедниками оказались самые духовные. В богословии господина Муди есть некоторая примесь расчёта, но среди всех великих проповедников пробуждения я не знаю, где найти человека, который постояннее обращался бы к добру в человеке и признавал бы во всех людях способность духовного действия. Нет ничего прекраснее, чем видеть, как в людях поднимается душа, изумляющая их самих, когда тот, кто доверяет её отклику на высший призыв, говорит ей о Божьей любви. Во всей своей проповеди повторяйте служение Иисуса, Который говорил самым низким и чувственным людям прямо о вечной любви и Своим доверием к ним приводил их к Отцу.

[20] Думаю, нельзя верно обозначить особенности нашего времени, с которыми сталкивается служитель, не назвав

склонности к сентиментальности. Она проявляется в значительной части нашей религиозной жизни и вредит нашему труду как прямо, так и косвенно. Она связана с другими чертами времени — с распространением сомнения и неверия. Когда множество людей более или менее сознательно усвоило мысль, что основания веры поколеблены, когда они боятся сказать, что считают религиозные истины буквально и безусловно истинными, когда поколеблен даже авторитет религии как властительницы нравственности и люди ищут постоянное основание поступать правильно где-то помимо Бога, но при всём этом побуждения благоговения и поклонения остаются сильны, — тогда совершенно естественно и неизбежно вырастает некая религия чувства. Невозможно сказать, во что и насколько она верит, но она услаждается пылкими и туманными выражениями чувств. Никто не может читать наши гимны — будь то самые незатейливые песни религиозных пробуждений или переводы средневековых песнопений обрядового направления — и не почувствовать, что я имею в виду. Часто они очень красивы, но по сравнению с гимнами, которые пели наши отцы, слабы. Им недостаёт мысли, а религия, которая не мыслит, не бывает сильной. Возможно, это реакция на то, как многие старые гимны обременялись рассуждением, с тяжким трудом и совсем не лирически переходившим от строфы к строфе; но любимый гимн сегодняшнего дня отбрасывает связную мысль и, кажется, стремится лишь выразить настроения мистического чувства или изобразить сцену, в которой духовная притча легко теряется в яркости чувственных образов. Думаю, то же верно и о молитвах. В молитве должна быть мысль. Мысль может перегрузить её так, что крылья благоговения окажутся прижаты к бокам и она не

сможет взлететь. Тогда это уже не молитва, а лишь размышление или созерцание. Но удалить мысль из молитвы — ещё не значит обеспечить её восхождение к Богу. Она может быть слишком легковесной для подъёма, как и слишком тяжёлой. Однажды в лондонской витрине я увидел объявление, гласившее просто: «Молитвы в мягком переплёте» — по-английски это звучало также как «Бесхребетные молитвы». Насколько я понимаю, оно описывало вид молитвенника в определённом переплёте, продававшийся внутри; но напомнило о множестве слышанных молитв, к которым невозможно было присоединиться: из них вынули весь позвоночник мысли, и к ним нельзя было прикрепить ни одного желания собственного сердца.

[21] Я знаю, что сентименталисты в религии были всегда. Мистика, в лучших своих проявлениях представляющая весьма высокое и всестороннее действие всей человеческой природы в постижении духовной истины, постоянно вырождается в сентиментализм. Но сегодня он опасен тем, что столь открыто притязает сам быть религией. Отрекаясь от учения и обесценивая закон, он утверждает, что религия принадлежит чувству и нет иной истины, кроме любви. Вы непременно встретите его у самого порога вашего первого прихода. Некоторые из самых милых и благородных натур наверняка будут им полны и покажут его вам весьма привлекательно. Другие представят его как простое слабое потакание себе. Вы найдёте в городе многие из сильнейших умов и совестей совершенно отделившимися от церкви, потому что они считают её — как сказали бы, если бы высказали вам всю свою мысль, — настоящей лавкой и пиршественным залом сентиментализма. Проповедуя, вы не можете этого игнорировать. Вы не можете не бороться с его влиянием

на самих себя. Жёсткое богословие плохо. Мягкое богословие ещё хуже. Вы должны считать свой труд неудовлетворительным, если не пробуждаете умы и не тревожите совесть людей. Пусть они ясно видят: вы не цените чувства, которое не рождено истиной и не рождает долга. А чтобы они увидели, что другого чувства вы не цените, вам и в самом деле нельзя ценить его ни в себе, ни в них.

[22] Сентиментализму и скептицизму естественно идти вместе, как жару и ознобу; и одна и та же смесь более глубокой веры и более добросовестного исполнения долга должна стать лекарством от обоих.

[23] Мы, служители, не можем не замечать с интересом среди признаков времени того, как относятся к самому проповеднику. Отмечать переменившееся отношение людей к служителям стало самым привычным общим местом; некоторые привыкли оплакивать его как признак упадка религиозного духа. Но причины достаточно ясны и не раз указывались. Проповедник уже не превосходит других людей в уме и мудрости с очевидностью. Почтение, прежде оказывавшееся служительскому званию на разумном предположении, что занимающий его человек образованнее, шире мыслит, лучше рассуждает и служит более надёжным руководителем во всех разнообразных делах жизни, чем другие, — такое почтение, если бы сохранялось теперь, было бы либо продолжением старой привычки, либо относилось бы исключительно к самому званию, совершенно без предположений о человеке. Последнее не могло бы продолжаться долго: никакое достоинство должности не обеспечит себе постоянного уважения людей, если не может показать достойного характера в тех, кто её

занимает. Я рад, что чисто внешние формы почтения к проповедническому званию настолько ушли в прошлое. Я не выдаю необходимость за добродетель. Я этому радуюсь. Для нас не могло бы быть ничего хуже, чем если бы люди продолжали почтительными формами уверять нас, что мы мудрейшие, когда на их полках стоят книги со словами куда более мудрыми, чем лучшие наши проповеди; что мы красноречивейшие, когда вокруг десятками встречаются лучшие ораторы; или что мы лучшие из людей, когда мы знаем святость самых безвестных душ, перед которой стоим пристыжёнными. Ни один мужественный человек не довольствуется оценкой своего характера по занимаемой должности. Делает ли она его лучше или хуже, чем он есть, она ему безразлична. Поэтому чем ближе служители к тому, чтобы их судили, подобно другим людям, просто по тому, что они собой представляют, тем больше им следует радоваться — и тем больше, думаю, они радуются. Но что же тогда? Неужели священное звание служителя ничего не значит? Разве его истина не приобретает авторитета, а пример — настоятельности благодаря занимаемому положению? Несомненно, приобретает. Мне кажется, лучшее преимущество, какое можно дать человеку, — положение, побуждающее его к лучшему в себе и делающее это лучшее наиболее действенным. Именно оно дано служителю. Официальное положение, которое подменяло бы лучшие силы самого человека какой-либо иной силой и заставляло бы его казаться действеннее, чем позволяют реальные способности, вредило бы ему и в конце концов само было бы признано пустым обманом. Я ни с кем не спорю за добросовестную веру в высокое и особое поручение христианского служения. Я спорю только с тем, кто, удовлетворившись тем, что считает

своим высоким поручением, не стремится соответствовать ему высоким характером. Чем больше вы считаете себя отличным от других людей потому, что вы служитель, тем больше старайтесь отличаться от них, полнее становясь тем, чем должны быть все люди. Вот такая приверженность высокой идее Церкви никогда не бывает чрезмерной.

24 Итак, я полагаю, что христианское служение по-прежнему сохраняет в уважении людей всё существенно ценное и всё, чем ему действительно полезно обладать. У него есть место для слова, более могущественное и священное, чем любое другое в мире. Затем возникает вопрос: что ему сказать? Пьедестал всё ещё стоит. Возможно, люди уже не станут собираться вокруг него, как прежде, независимо от того, какая статуя на нём установлена. Но если на нём стоит действительно хорошая статуя, мир может увидеть её так, как не увидел бы ни в каком другом месте.

25 У служения есть два больших недостатка: один возникает из игнорирования, другой — из бунта против этой перемены во взаимном отношении служителя и народа. Первый — постоянное утверждение авторитета служителя в подтверждение преподаваемой истины. Требовать, чтобы люди верили тому, чему мы учим, потому, что этому учим мы, а не потому, что они видят его истинность, — значит присваивать место, которого Бог нам не даёт и люди за нами не признают. Многих христианских служителей следовало бы отправить обратно к тому, кого мы называем язычником Сократом, прочесть благородные слова в «Федоне» — весь этот диалог, кстати, и сам является достойным образцом лучших качеств проповеди: «Вы, если последуете моему

совету, будете мало думать о Сократе, но много — об истине».

[26] Второй недостаток — непрестанное желание заставить слушать нас тех, кто, кажется, решил нас забыть. Это недостаток сенсационной проповеди. Значительная часть того, что называют сенсационной проповедью, — просто усилие человека, не верящего ни в своё звание, ни во внутреннюю силу истины, удержать себя на виду посредством какой-нибудь умственной причуды. Это погоня за яркостью и живостью мысли ради них самих, происходящая, по-видимому, из почти отчаянной решимости сенсационного служителя не дать себя забыть. Думаю, здесь много нервного беспокойства ума, выдающего поколебленную уверенность в собственном положении. Такой ум изо всех сил старается быть остроумным. Он живёт эффектными замечаниями. Это губительно для справедливости мысли, которая одна в конечном счёте вызывает доверие и имеет вес. Человек, всегда старающийся привлекать внимание и блистать, считает скучным простое трезвое стремление к безусловной истине и справедливости. Быть остроумным и несправедливым соблазнительнее, чем серьёзным и справедливым. Каждый проповедник постоянно должен выбирать, каким ему быть. Людям, в отличие от ангелов, не дано одновременно быть «всегда блистающими и прекрасными». И тревожная жажда блеска — один из признаков того, что положение духовенства в наше время пошатнулось.

[27] Проповеднику доступна жизнь великого благородства и пользы, если он открыто признаёт и сердечно принимает то отношение мира к своему званию, которое встречает, проповедует истину и долг в силу их собственного

внутреннего авторитета и приобретает личную силу и влияние именно потому, что ищет не их, а торжества праведности и спасения человеческих душ.

[28] Отношение нашего времени к Библии — ещё один предмет, который должен глубоко занимать проповедника. Библия — авторитет, на основании которого мы проповедуем; и когда мы видим, что люди, интересующиеся нашей проповедью, в такой мере не интересуются и не знакомы с источником, из которого взята наша истина, неизбежно возникают вопросы: всё ли правильно в нашей проповеди? Я сейчас не говорю о распространённых сомнениях в Библии, хотя они, конечно, теснейшим образом связаны с незнанием её — и как причина, и как следствие. Я говорю лишь о самом факте этого несомненного незнания. Кто среди наших людей знает Ветхий Завет? Где люди, в каком-либо действительном смысле знающие Новый?

[29] Если искать причины такого незнания книги, лежащей у каждого на столе и имя которой у всех на устах, найти их нетрудно. Прежде всего, наше время сильно отшатнулось от прежней веры в спасительную силу Библии. Люди, читавшие книгу не потому, что она истинна, и не потому, что желали усвоить её уроки, а потому, что считали чтение безопасным, а нечтение опасным, — как только представление о безопасности отделится от этой книги, — будут менее готовы заботиться о её истине и ощущать её силу, чем в случае других книг. Такова человеческая природа. Более сильное чувство к Библии подавляло то более обычное чувство, которое привязывает нас к другим книгам. Другая причина, конечно, — множество других книг, их дешевизна и кажущаяся неотложность. Даже знающий,

что Библия — лучшая из книг, вместо неё прочтёт новейший трактат о религии, поскольку знает: Библия принадлежит всем векам и никогда не устареет, тогда как с этим «последним изданием» — сейчас или никогда. Ещё одна причина — распространённая склонность считать Библию книгой духовенства. Мы удивляемся малодушию, с которым люди Средневековья и нынешние римские католики подчинялись ограничениям чтения Библии и принимали всё, что их проповедники решали им о ней рассказать. Истина же в том, что им нравится такое положение; многим нашим протестантам оно тоже нравится, и они по собственной воле обращаются с Библией точно так, как средневековый христианин был вынужден с нею обращаться, так что удивляться не приходится. Другая причина состоит в том, что духовенство своим нереальным, фантастическим обращением с Библией нередко делает всё возможное, чтобы люди считали её действительно непонятной никому, кроме обладателя чрезвычайно сложного ключа, и потому не предназначенной для таких, как они. В этом зло всякого нереального толкования: оно окружает книгу Божью атмосферой нереальности. Я слышал о проповеди на первый стих сорок первого псалма, объявлявшей его изложением миссии Христа и замысла Искупления. Вообразите верующего ученика, который после такой проповеди возвращается домой и читает Библию с хоть малейшей надеждой понять её смысл! И ещё одна причина — наша небиблейская проповедь. Я имею в виду проповедь о самых разных предметах с различной степенью мудрости, но без чего-либо, что внушало бы: предлагаемое людям — лишь несколько капель из источника истины и жизни, — и потому посылало бы их с жадностью к самому источнику напиться вдоволь.

30 Против этих склонностей делать Библию нереальной и неинтересной возник протест нового способа обращения с нею и новых книг о ней. Я знаю опасность поверхностности, сопровождающую реалистический подход к Библии. Я знаю, как легко он доводит ум до некоторой степени любительского интереса и оставляет его там. Конечно, хвалить его можно только как введение в духовное богатство, гораздо более глубокое, чем он сам; однако в наши дни есть чему радоваться: Милман и Стэнли, Фаррар и автор «Ecce Homo» в литературе, а Холман Хант и Бида в искусстве вновь оживили внешнюю жизнь Библии и, разогнав туман нереальности у её порога, открыли путь к более глубокому проникновению в её дух, чем человек до сих пор достигал.

31 Нужны все особые усилия, направленные на то, чтобы люди узнали Библию. Библейский класс, объяснительная лекция, наглядная картина — никто из них не может сделать слишком много. Но ещё нужнее, чтобы мы с вами, проповедующие, дали людям увидеть: мы — люди Библии, знаем её букву и охвачены её духом, прямо из неё исходит поддержка собственной нашей религиозной жизни и пища, которую мы предлагаем в проповеди.

32 Я не должен больше удлинять лекцию. Я старался указать вам некоторые особенности нашего времени, с которыми нам, проповедникам, приходится встречаться. Не могу закончить, не попросив вас: не стыдитесь и не бойтесь века, в котором живёте, и менее всего говорите о нём тоном бессильного отчаяния. В начале прошлого столетия многие говорили о христианстве как об отжившем суеверии. И всё же посмотрите, какая новая жизнь с тех пор вышла из того, что тогда называли мёртвым. Прежнее положение может казаться

вернувшимся, хотя в девятнадцатом веке люди не могут быть настолько всецело неверующими, как в восемнадцатом. Но из того, что ныне называют медленной смертью, выйдет новая жизнь. Во многом мы ясно видим: нас окружает не смерть, а некая удивительная перемена и развитие способов жизни. Быть всецело в сочувственном единении со своим веком, восхищаться всем в нём достойным восхищения, радоваться его великим достижениям, видеть красоту великолепного материального здания, которое он возводит для лучшей духовности, что придёт поселиться в нём, с любовью прослеживать странные кочующие течения духовного желания, пробегающие, часто причудливо или неистово, через его бурную жизнь, с радостью видеть, как новые его нужды раскрывают новые стороны помощи во всегда помогающем Евангелии Христовом, — вот истинная подготовка проповедника для нашего времени. Он верит в него и любит его, видит его великие, сильные недостатки на фоне благородных качеств. Он благодарит Бога, пославшего его сюда трудиться, ибо уверен: хотя было много столетий, когда проповедовать человеку было легче, не было ни одного, когда это было бы интереснее и вдохновеннее.

Лекция 8. Ценность человеческой души

[1] Есть сила, лежащая в центре всякого успеха проповеди; её влияние достигает самой окружности, и она необходима повсюду. Без неё мы не можем представить, чтобы самые блестящие дарования сделали человека проповедником Евангелия в полном смысле слова. Там, где она присутствует в изобилии, удивительно, сколько недостатков перестают иметь значение. Ей свойственны признаки всех наиболее существенных сил. Она может влиять на всю жизнь как одно общее, всепроникающее побуждение; и она же может с особой силой воздействовать на каждый отдельный поступок. Под её понуждением человек впервые становится проповедником, и каждая произносимая им проповедь более или менее сознательно формируется её давлением — подобно тому как целый круглый мир и каждый круглый атом получают и сохраняют свою форму по одним и тем же законам. Без этой силы проповедь почти неизбежно становится либо борьбой честолюбия, либо бременем рутины. С нею проповедь — вечно свежая радость. Эта сила — ценность человеческой души, ощущаемая проповедником и вдохновляющая весь его труд.

[2] Сила этого побуждения подразумевалась во всём, что я вам говорил. Но оно кажется мне столь превосходящим всё по важности; служение, исполненное им, столь богато, а лишённое его — столь бедно, что, принимая на себя обязанность, которую сегодня завершаю, я решил посвятить последнюю лекцию серьёзному рассмотрению значения и ценности этой главной пружины, свёрнутой

внутри всего сложного механизма служения, — осознанной ценности человеческой души.

[3] Самое ясное представление о её значении мы получаем, обращаясь к земному служению Иисуса. Его чудесному делу можно дать много объяснений. Люди могут сказать о нём много остроумного, и многое окажется истинным. Но мы уверены: вернее всего коснулся центральной силы Христова служения тот, кто показывает нам, как высоко Спаситель всегда ценил души, ради которых жил и умер. Это сияет во всём, что Он говорит и делает. Это смотрит из Его глаз, когда они радостнее всего и когда печальнее всего. Это трепещет в самых любящих утешениях и гремит в самых пламенных обличениях, исходящих из Его уст. Это вдохновляет и Его сострадание, и Его негодование. И тех немногих, на кого пал этот свет и в чьих историях он нашёл своё выражение, — мужчин и женщин, представлявших человечество вокруг Него в Палестине: Никодима, Петра, Иоанна, фарисеев, Магдалину, самарянку и всех остальных, — он навеки сделал сияющими своим светом. Эта сила продолжает действовать везде, где присутствует такое же сознание ценности человеческой души. Если бы мы могли видеть драгоценность души так, как видел её Христос, наше служение приблизилось бы по действенности к Христову. «Ваши слова меня не убедили. Я не уверен, что не смогу ответить на каждый ваш довод, — сказал человек, которого убеждал проповедник, — но одного, признаюсь, я понять не могу. Это озадачивает меня и заставляет чувствовать силу в ваших словах. Почему я так вам небезразличен, что вы берёте на себя все эти хлопоты и трудитесь надо мною, словно вам дорога моя душа?» Это сила, которую должен почувствовать всякий человек. Она вдохновляет проповедника; а его слушатели, улавливая её

влияние, становятся мягкими и готовыми принять истину. Это сила в руке, наносящей удар, и податливость камня, принимающего его.

4 Другие побуждения служительского труда, как мне представляется, стоят вокруг этого великого средоточия подобно штабным офицерам вокруг полководца. Они нужны ему. Они исполняют его приказания. Без них он не мог бы делать своё дело. Но он зависит от них не так, как они от него: любой из них может выбыть, а он всё ещё сможет вести сражение. Сила битвы заключена в нём. Если падёт он, дело погибнет. Так стоят подчинённые побуждения служения вокруг главенствующего — осознанной ценности человеческой души. Это те побуждения, на которых я имел случай поочерёдно останавливаться в этих лекциях. Это удовольствие от труда, простая радость применения сил, естественная для всякого здорового телом и умом человека; любовь к влиянию — удовлетворение от сознания, что наша жизнь соприкасается с другой жизнью ради доброго результата, — тоже естественное и здоровое чувство; восприятие порядка — любовь к стройному движению, к ритму праведности в человеческой жизни и поведении, — в высших своих видах благородная, хотя в низших вырождающаяся в рутину; наконец, чистая забота об истине — удовольствие от того, что верные идеи занимают место неверных, — которое может быть совершенно отделено от заботы о благе человека, в котором совершается перемена. Таковы благороднейшие члены штаба великого полководца. Есть и менее благородные, добровольно предлагающие свои услуги, носящие нечто похожее на его мундир и не всегда отличимые от его настоящих слуг: соперничество, любовь к славе, гордость своими мнениями, удовольствие от

близкого по духу общества. На них я останавливаться не буду. Остальные — настоящий штаб полководца. Но когда мы смотрим на эту группу, как высоко над всеми возвышается главенствующее побуждение, которому они служат! От служения ему они получают высшее достоинство. Ибо в этом служении каждое из них, само по себе отвлечённое, вступает в действительное соприкосновение с человеком; а ни одно отвлечённое начало не проявляет всей своей силы и не даёт всей своей радости, пока не раскроет существенных связей между собой и человеческой природой. Великое преимущество служения в том, что оно постоянно и неизбежно соприкасается с человечеством. В этом его здоровье. Человек в своей тайне и удивительности гораздо полнее напоминает о Боге, чем отвлечённая истина или вещественная природа. Поэтому истинный проповедник, несмотря на несовершенные возможности учиться, несмотря на оторванность от красоты природного мира, имеет возможность узнать о Боге больше, чем могли бы открыть ему глубочайшая умозрительная философия или прекраснейшие земные пейзажи.

5 Попробую теперь указать вам некоторые последствия, которые истинное чувство ценности человеческой души производит в проповеди человека. Под этим чувством я понимаю высокую оценку возможностей духовной природы, острое и постоянное сознание тех высот, до которых её можно довести. Прежде всего оно помогает освободить проповедуемое нами Евангелие от некой неестественности и несоразмерности, так легко к нему пристающих. Это, по-моему, очень важно. Подумайте, что именно вам предстоит неделю за неделей возвещать мужчинам и женщинам, приходящим вас слушать.

[6] Великие истины Воплощения и Искупления — вот ваши темы. Вы рассказываете о рождении, жизни и смерти Иисуса Христа. Вы изображаете достопоклоняемую любовь и таинственную жертву Спасителя. И всё это связываете с жизнью слушателей. Вы говорите им, что в истинном смысле всё это несомненно совершилось ради них. Я не знаю, из чего вы сделаны, если иногда во время проповеди к вам не приходит мысль о несоразмерности. Кто вы — вы и эти люди, которым вы проповедуете, — чтобы ради вас пришло в движение средоточие любви вселенной? Вы знаете собственную жизнь. Вам кое-что известно об их жизни. Проповедуя, вы смотрите им в лица. Где цель, достойная всего описанного вами служения всемогущей благодати? Неужели всё это однажды совершилось и действием Святого Духа остаётся постоянной силой в мире лишь для того, чтобы эти механические жизни шли немного вернее или чтобы был установлен ряд правил, обеспечивающих более гладкую работу нынешнего общества? То, что люди порой объявляют целью всего, слишком недостойно. Машина слишком груба, чтобы под нею горел такой прекрасный огонь. Вы должны увидеть нечто глубже. Вы должны различить во всех этих мужчинах и женщинах некоторую внутреннюю драгоценность, ради которой даже чудо Воплощения и мука Голгофы не были чрезмерны, иначе невозможно сохранить веру в те потрясающие истины, которые предлагают нам Вифлеем и Голгофа. Некий источник огня, от которого происходят эти потускневшие искры; возможность возобновления огня, ещё пребывающего в них; некоторое видение воспитания, через которое проходит каждая душа; некоторое указание на особое личное совершенство, которого каждая может достичь, — всё это должно яснеть перед вами, когда вы

смотрите на людей. Тогда истины вашего богословия не придут в смятение и не поблекнут до нереальности от вашего служения людям. Лучшее в жизни служителя — взаимное воздействие его дел и его веры: опыт более глубокой ценности человеческой души делает чудеса веры более убедительными, а истины веры непрестанно открывают всё более глубокую ценность души.

7 Думаю, никто не может проповедовать с наибольшей силой, если не охвачен чувством таинственности человеческой жизни, к которой обращается. Она должна представляться ему способной к безграничному расширению и очищению. В каждом новом человеке он должен видеть её как нечто самобытное и новое. Это должно принадлежать всему его представлению о человеке как о дитяти Божьем. Оно не должно быть простым внушением прихоти, щедро приписываемым одним жизням, случайно пленившим его воображение, и не замечаемым в других. Он должен видеть это во всех людях просто как в людях. Берясь руководить ими, он должен чувствовать тайну и самостоятельную жизненную силу тех, кого принимает под своё наставничество. Он должен внимательно изучать характеры, которые воспитывает. Он не может перевозить людей по маршруту своего служения, словно паромщик возит пассажиров через реку, всегда направляя лодку по одной линии и даже не спрашивая имён перевозимых. Он должен скорее считать себя наставником семьи князей, который, внимательно изучая нрав каждого, готовит царственную природу каждого к тому особому царству, которым тому предстоит управлять.

8 Здесь проповедник соприкасается с поэтом. Каждый истинный проповедник должен быть поэтом хотя бы в

том, чтобы видеть за всеми человеческими несовершенствами некоторую идеальную человечность, от которой люди никогда не отделялись, которая лежит в основании жизни и сообщает ценность размытым и надломленным чертам каждого. Вера в Воплощение, в божественного Сына Человеческого делает всех нас такими поэтами. Интересно видеть, у скольких служителей надежда, заключённая в этом идеальном поэтическом взгляде на человеческую жизнь, преодолевает склонности природного темперамента, уныние от бедности и болезни, разочаровывающее воздействие общения с людьми и сохраняет за служителями положение самого исполненного надежды разряда людей. Они всегда стоят там, где, если захотят, могут прислушиваться к колоколам, которые «возвестят Христа грядущего». Я видел служителей, пытавшихся подавить это благородное стремление своего призвания и принять цинизм и безнадёжность, которых они не чувствовали, чтобы другие не называли их ребячливыми. И я видел разочарование мирских людей, приходивших к таким служителям и находивших вместо ожидаемых детской надежды и доверия лишь столь же ложные и отчаянные мысли о человеческой природе, как их собственные: словно лёд подошёл к огню согреться и нашёл огонь, стыдящийся своего тепла и изо всех сил старающийся стать холодным как лёд.

[9] Я мог бы остановиться также на ценности человеческой души ради неё самой как на постоянном запасе радости в служении. В нашем труде есть и другие радости, о которых я уже рассказывал; но все они в известной мере зависят от обстоятельств. Приходская смута, обнаруживающая дурную сторону жизненной действительности, может рассеять одни. Бедность,

лишающая средств для образования и возможности осуществлять замыслы, может отнять другие. Но новая радость общения с человеком как с человеком, как с существом, ценным само по себе, не требует особого счастья обстоятельств. Где есть люди, там она вам доступна. Только Робинзон Крузо от неё отлучён, да и к нему непременно придёт Пятница.

[10] В этом же заключается и подлинное братство служения. Никакие соработники не сближаются так, как соработники в служении Евангелию; и всего теснее их содружество, когда они глубже всего знают истину о внутренней ценности человеческой души. Ко мне приходит проповедник из Африки или из церкви другого исповедания на соседней улице, которая часто кажется дальше Африки. Насколько мы сблизимся, зависит от того, в чём сила нашей проповеди. Если мы оба преданы механизмам, если каждый ценит лишь то, чем определённый разряд людей может стать под особым воспитанием представляемого им исповедания, то мы беседуем, пусть и очень приятно, только через заборы, и жмём друг другу руки, пусть и очень сердечно, только между планками. Если же мы оба действительно ценим человеческую душу, мы понимаем друг друга; различные способы труда не разделяют, а соединяют нас, потому что через них мы обнаруживаем друг другу глубокое побуждение, составляющее силу обеих наших жизней. Заборы превращаются в мосты. Несомненно, христианское единство, когда бы оно ни пришло, должно прийти так: не через компромисс и согласование различных форм управления и богослужения, а через развитие во всех проповедниках всех направлений того сознания ценности человека во Христе, которое прокладывает путь глубоко под различиями форм и

взлетает высоко над ними. Некоторым людям в наши дни, возможно, дано предпринимать прямые шаги к органическому христианскому единству. Я желаю им Божьей помощи. Но если это не наша задача, будем знать и радоваться тому, что, возможно, делаем для тысячелетнего царства столько же, сколько они, если в себе и своих слушателях — каким бы частным именем мы и они ни назывались — делаем всё, что можем, для укрепления сознания ценности человеческой души, по самой природе своей всеобщего и потому не способного быть ограниченно-партийным. Здесь ревностный приверженец своей стороны, являющийся одновременно искренним христианином, нередко трудится лучше, чем сам знает. Он похож на завистливого земледельца, который молится о дожде для своего поля, чтобы оно было плодороднее соседского; но небо слишком широко для него и не ограничит своей щедрости намерением его молитвы. Дождь пойдёт, но он не может идти только между заборами; и эгоистичная молитва принесёт свежесть чужим нивам, о которых земледелец не молится.

[11] И поскольку эта сила служения лежит глубже всего, она дольше всего и сохраняется. Опытный проповедник, думаю, до более поздних лет сохраняет радость своего труда и старается продолжать его, чем опытный работник почти любого другого занятия. Мне это всегда кажется трогательным и убедительным доказательством превосходства нашего призвания. С возрастом оно выглядит всё лучше. Замечательный французский художник Милле говорил ученикам: «Конец дня — испытание картины», «La fin du jour, c’est l’épreuve d’un tableau». Он имел в виду, что сумеречный час, когда света уже недостаточно для различения подробностей,

наиболее благоприятен для оценки картины в целом. Так и со служением. Когда перекрёстные огни ревнивого соперничества и блеск постоянной известности смягчаются, уступая темноте, в которой пребывают чистый суд Божий и покой забвения людьми, тогда выступает то, что всё время скрывалось за ними. И старый проповедник, переставший заботиться о людской похвале или порицании, получивший или упустивший всё отпущенное ему здесь в успехе и неудаче, продолжает проповедовать из чистого чувства драгоценности человеческой души и чистого желания ещё немного послужить столь достойному его служения прежде, чем он уйдёт.

[12] Продолжу перечисление качеств, вырастающих в проповеднике из сознания ценности человеческой души. Одно из самых необходимых последствий — мужество. Вернейший способ не бояться худшей части человека — ценить его лучшую часть и стараться ей служить. Патриот, который действительно ценит драгоценные начала жизни своего народа, бесстрашнее всего обличает его недостатки. Христос был тем независимее от людских прихотей, чем глубже любил людей и полнее посвящал Себя их нуждам. Здесь есть три ступени. Первая — легкомысленное превосходство, презирающее людей и считающее их созданными лишь для того, чтобы принимать то, что проповедник соблаговолит им дать, и обеспечивать его содержание. Вторая — рабское угодничество, следящее за всеми их причудами и старающееся дуть в ту сторону, куда указывает их флюгер. Третья — глубокое уважение, слишком серьёзно дорожащее тем, чем люди способны стать, чтобы без решительного увещания позволить им хоть в чём-либо не достигнуть этого. Вы видели все три ступени в отношении

родителей к детям. Я мог бы сегодня показать каждую из трёх в отношениях разных проповедников к своим приходам. Поверьте мне: последняя — единственная истинная независимость, единственная, которой стоит искать и которую человек вообще вправе искать. Актёр может ободрять себя, презирая публику или забывая о ней, но проповедник должен искать мужества в другом месте. Чем дороже вам духовная природа ваших прихожан, тем лучше вы сможете противиться их прихотям. Здесь должен находиться источник вашей независимости.

13 Здесь же — сила простоты и безусловной подлинности. Вся напыщенная риторика, всякая ложная красивость, всякая причудливость в учении должны исчезнуть перед высочайшим, всепоглощающим сознанием ценности человеческих душ. Совесть и вкус, когда оба чисты, совпадут. Всякое их разлучение разделяет то, что соединил Бог. Наиболее существенно они едины в действиях нашего священного служения. Человек, взор которого устремлён на человеческие души и сердце которого горит желанием их спасти, почти безошибочным чутьём выбирает образ, яснее всего представляющий истину их уму, и форму призыва, сильнее всего воздействующую на их вялую волю. Он берёт это и отвергает всё остальное. Обыкновенный мирный горожанин неторопливо бродит по лондонскому Тауэру и среди старинных доспехов хвалит те, которые считает красивыми. Воин проходит по тем же залам и воинским чутьём не считает прекрасным оружия, которое не убивает врага, и доспеха, который не защищает носящего его. Таково окончательное основание всякого верного выбора, пробный камень хорошего вкуса. Проповедь всегда должна приноситься в жертву душе, система труда

— цели труда. Это подрубает корень всей клерикальной привередливости и тирании порядка. Удивительно, как всякое украшение проповеди выдаёт свой характер. Действительно принадлежащее её цели всегда хорошо. То, что присутствует ради самого себя, всякий чистый вкус, даже невоспитанный, немедленно чувствует как дурное. Первое подобно скульптуре старого собора, которая, как бы груба ни была, предназначалась рассказать историю. Второе подобно резьбе на фасадах наших домов, предназначенной просто выглядеть красиво и потому не достигающей даже этого. Некоторые люди рождаются для столь высокого положения, что обречены быть либо славными, либо смешными. Так и украшение проповеди: оно должно либо выполнять высокую задачу — делать истину ясной и славной, — либо терпит полную неудачу. Ему нельзя позволять просто развлекать или нравиться, как может украшение очерка или стихотворения.

[14] Но наше начало идёт глубже. Это господствующее сознание ценности человеческой души должно спасти проповедника также от узкого обращения с душами, порученными его попечению. Если они для него дороже любой собственной теории о том, как вообще следует обращаться с душами, он будет широк и постарается лишь привести каждую к полному послушанию Богу, которое оборачивается для всех нас такими разными переживаниями. Теоретик аскетизма ценит самоотречение ради него самого и хотел бы навязать его всем без разбора. Теоретик потакания себе говорит: «Нет, страдание — проклятие. Удовольствие — благо. Избегайте боли. Делайте приятное». Учитель, которому наставляемые души дороже всякой теории, говорит иное, чем оба они: «Не наслаждение и не печаль, а встреча

вашей воли с волей Божьей, что бы она ни принесла, — цель всякого воспитания. Будьте готовы к любому пути, который Бог изберёт, чтобы привести вашу волю к Своей». Но к этой широкой мудрости никакой учитель не может прийти иначе, как через истинное чувство драгоценности человеческой души.

15 Нельзя отрицать и нельзя забывать, что это всепоглощающее убеждение в ценности человеческой души имеет свою постоянно сопутствующую опасность. Она не мала и не случайна. Она важна и коренится в самом существе дела.

16 Опасность в том, что, усердствуя помочь столь высоко ценимой нами духовной природе, мы можем начать судить об истинности идеи по тому, какое, на наш взгляд, влияние она окажет на душу, о которой мы так тревожимся. Склонность оценивать идеи и обращаться с ними в зависимости от предполагаемых последствий для человеческого характера, несомненно, всегда была великим искушением духовных учителей. Полагаю, её невозможно совершенно отделить от призвания, одновременно обязанного искать истину и воспитывать характер. Так к церкви пристаёт и отягощает её множество учений, в которые верят лишь наполовину. Люди настаивают на собственной вере в некоторые учения и требуют её от других не потому, что истинность этих учений разумно доказана, а потому, что при нынешнем положении вещей отказаться от них было бы опасно. Так один держится за своё представление о словесной богодухновенности, другой — за особую теорию божественной справедливости, третий — за вещественное представление о воскресении, ещё один — за своё понятие о власти Церкви и полномочиях служителя. Это

чрезвычайно опасная опасность, потому что она прикрывается столь добрым побуждением; но она чревата всеми злыми плодами суеверия. Она начинается с недостатка веры в людей, в истину и в Бога. Иисус велит не бросать жемчуг перед свиньями, но не велит кормить камешками даже свиней. «Не дай Бог, — говорит епископ Уотсон, — чтобы искание истины сдерживалось страхом перед её последствиями. Последствия истины могут разрушать системы суеверия, но никогда не повредят правам или обоснованным ожиданиям человеческого рода». Ничего не хотелось бы сказать нашим молодым и горячим служителям с большей настойчивостью, чем это. Никогда не приносите благоговения перед истиной в жертву желанию быть полезными. Не говорите того, чего не считаете истинным, потому лишь, что это кажется полезным. Не скрывайте того, что знаете как истину, потому лишь, что это кажется вредным. Кто вы такие, чтобы ограничивать детям питьё из чаши, которую их Отец велит вам принести им, или примешивать к нему заблуждение, полагая, что они не вынесут его чистоты? Прежде всего мы должны научиться судить об истинности учений по иным мерилам, чем последствия, которые, как нам кажется, эти учения произведут. Затем, составив суждение, мы должны довериться истине, в которую верим, и Богу, от Которого она исходит, и свободно рассказать её людям. От одного из великих искушений служения избавлен тот, кто выходит на труд с ясной и постоянной уверенностью: истина всегда сильна, как бы слаба она ни казалась, а ложь всегда слаба, как бы сильна ни казалась.

[17] Но если мы помним эту опасность и остерегаемся её, то сознание ценности душ наших братьев поможет избежать многих ложных мерил. Оно сделает интересными многих

людей, которых иначе мы нашли бы весьма неинтересными. В подготовке служителя многое приучает ценить чисто умственное общение. Многие служители, по складу своему ценящие истину больше людей, склонны позволять себе тяготеть почти исключительно к обществу тех, чей образ мыслей сходен с их собственным. Думаю, многие неслужители удивляются, как один человек, пастырь большого прихода, может искренне интересоваться столькими людьми с такими разными характерами и жизнями. Немало людей и даже некоторые священнослужители считают это заведомо невозможным и принимают видимость всеобщего интереса за притворство, необходимое для поддержания приходского единства и потому весьма ценное умение служителя. Но это не так. Никто никогда не мог успешно делать это год за годом притворно. Весь секрет просто в великом чувстве ценности человеческой души, ставшем близким и конкретным применительно к этим душам, порученным нашему попечению, — подобно тому как судья видит всё достоинство закона в разрешении мелкой ссоры, представленной его суду. Широкое понятие ценности человечества должно предшествовать особой оценке собственных прихожан; иначе пастырское отношение либо размягчается до простой личной привязанности, либо твердеет до жёсткого и формального обращения с людьми по произвольным разрядам, в которых одинаково теряются и их общая человечность, и личное своеобразие. Есть служение тем более личное, чем шире его человечность; служение, которое, начиная со святости человека, считает священными всех людей и, по-особому касаясь каждого, прикасается к жизни сильных мужчин и малых детей, женщин, мальчиков и девочек, трудящихся

и праздных, святых и грешников, — как дождь и роса Божьи, орошающие землю, питают и дуб, и фиалку; служение, которое делает свою заботу о каждой душе тем дороже и священнее для неё, что это, очевидно, не просто личная привязанность, а одно из выражений подобия Христу, глубоко чувствующего драгоценность душ всех Божьих детей.

[18] У меня нет времени подробно говорить о помощи, которую постоянное сознание ценности человеческих душ должно оказывать нашей собственной духовной жизни, а через неё — нашей действенности как проповедников. В действительности это великая сила, посредством которой должны расти наши души. Это служение людей проповеднику, часто большее, чем всякое служение, которое проповедник может оказать людям. Уверяю вас: отношения пастыря с приходом неправильны, если пастырь думает, будто обязанность лежит только на одной стороне, если, живя среди людей и уходя от них, он не исполнен постоянной благодарности за сделанное ими для него. Пастырь, нечувствительный к этому, не может принести своим людям наилучшего добра. И та помощь, которую служитель получает от общины, чьи души ценит, прямо дополняет добро, получаемое им в кабинете. Ему нужно и то и другое. Кабинет снабжает его идеями, умственными понятиями, а община — атмосферой, в которой эти идеи созревают до лучшего результата. Становясь старше, служитель меняет некоторые прежние мнения. Новые мнения, хочется надеяться, вернее старых. Но больше всех подобных перемен — углубляющиеся убеждения обо всём духовном, возникающие за долгие годы общения с человеческими душами и окрашивающие всякое мнение, новое или старое. Убеждение, что истина и судьба коренятся в

существе вещей и не произвольны; что христианство — личная любовь ко Христу и служение Ему; что спасение положительно, а не отрицательно, — такие убеждения наполняют и обогащают зрелые годы проповедника. Их ясностью и силой он обязан занятию, которое одновременно требовало и воспитывало сознание ценности человеческих душ.

19 Что касается природы этого сознания ценности человеческой души, заметьте, прошу вас: оно больше простого чувства опасности, грозящей душе. Это обдуманная оценка духовной природы человека в свете её возможностей. Опасность, в которую грех ставит эту природу, усиливает и подчёркивает признаваемую нами ценность, но не создаёт её. Думаю, это важно. Полагаю, иногда мы склонны позволять нашей тревоге о спасении душ вырождаться в одну жалость к бедствию, в которое их может привести грех; и результат такого низкого представления в том, что, уверившись, будто душа, как мы говорим, «в безопасности», прощена и не будет наказана, мы успокаиваемся. Мысль об избавлении захватила всю нашу религию и часто вытеснила мысль о воспитании. Думаю, тон Нового Завета иной. Я знаю, насколько заметно в нём всегда выступают истины опасности и избавления. Я знаю, что Христос «пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию» и был назван Иисусом, потому что должен был «спасти Свой народ от грехов его»; но всё время за опасностью стоит ценность духовной природы, подвергающейся ей. Дело не только и не главным образом в страдании, которое душа должна претерпеть; дело в утрате самой души, в том, что она не станет тем светлым и чудесным существом, каким должна быть как душа дитяти Божьего. Вот почему процесс спасения не может остановиться на отмене наказаний и

прощении грехов. Он должен включать всё постепенное совершенствование души верой, любовью, послушанием и терпением. Вот также почему видящие лишь одну половину полного спасения склонны сурово судить тех, кто увидел лишь другую. Половина истины часто ревнивее относится к другой половине, чем к заблуждению.

[20] Это более широкое и глубокое сознание ценности человеческой души, думаю, видно во всех проповедях величайших проповедников. Побуждает их убеждать людей не просто жалость к находящемуся в опасности. Она могла бы вызвать своего рода снисходительное усилие независимо от того, насколько внутренне ничтожно существо, которому грозит беда, — как человек может вскочить, чтобы выхватить даже насекомое из пламени свечи. Их побуждает сияющее видение того, какой великой и прекрасной могла бы быть человеческая душа, какие великие дела она могла бы совершать, если бы была всецело очищена и наполнена Божьей любовью и тем открыла свободные пути Его силе.

[21] Есть особые причины, по которым эту великую силу — чувство ценности души, о котором я говорил, — в нашу эпоху труднее приобрести и сохранить, чем во многие другие времена. На неё влияют две особенности нашего времени. Одна — склонность философии отвлекаться от человека и обращаться к остальной природе, а в изучении человека меньше всего заниматься его духовной природой и больше всего — его физической историей. Другая — сильное человеколюбивое стремление, господствующее вокруг нас: желание облегчать людские страдания, умножать благополучие и просвещение людей. Первая склонность несомненно делает осознание

духовной ценности человечества труднее обычного; вторая, хотя и придаёт человеку большое значение, заботится главным образом о его материальном благополучии и всегда склонна подчинять отдельного человека интересам массы. Общий результат, думаю, несомненен: действительное, живое, постоянное чувство достоинства человеческой духовной природы сталкивается с такими затруднениями, какие лишь очень редко встречались в другие века людям, стремившимся служить ближним. В такое время необходимо очень крепко держаться постоянных фактов человеческой жизни, лежащих ниже всех этих временных перемен, и быть твёрдо уверенными в их новом появлении. Нам нужна острая, зоркая вера, различающая первые признаки того, что непременно придёт, — противодействия односторонним склонностям эпохи. Нам нужна великодушная справедливость, умеющая распознавать подлинно духовную мысль и чувство, которые, даже сами запутавшись, облеклись в формы и выражения своего времени.

22 Но более всего нам, проповедующим в такие дни, нужно понимать способы, которыми во всякое время приобретается и сохраняется чувство драгоценности человеческой души.

23 Каковы эти способы? Прежде всего, прежде чем человек сможет ценить души других, он должен научиться ценить собственную. А ценить собственную душу он учится лишь тогда, когда сознаёт торжественные прикосновения к ней Духа Господня. Ах, друзья мои, вот настоящая причина, по которой проповедующий внутренней жизни других сам должен иметь внутреннюю жизнь. Не для того, чтобы взять собственный опыт и узко

сделать его образцом, которому должен соответствовать всякий другой опыт; а для того, чтобы, узнав, как Бог любит его, ощутив во многие тихие часы и во время многих бурных испытаний прикосновение Божьих рук, полных заботы и мудрости, он мог знать, глядя с кафедры: за каждым лицом, в которое он смотрит, есть душа, о которой Бог заботится с той же внимательностью. В своём уединении он впервые увидел свет, который затем выносит оттуда, чтобы осветить человеческую природу своей общины и выявить все её краски. Личное желание быть чистым и святым, личное сознание силы быть чистым и святым через Христа открывают возможности других людей.

24 Далее, весь взгляд проповедника на богословие должен быть окрашен драгоценностью человеческой души. Двое могут держаться одного учения и при этом очень сильно различаться в данном отношении. Одному христианские истины открывают многое о славе и милосердии Бога; для другого они сияют также ценностью духовной человечности. Этому последнему Воплощение открывает существенное достоинство природы, в соединение с которой Божество могло так чудесно вступить. Искупление свидетельствует о неизреченной любви Бога, но также о ценности, скрытой под грехом человека, ради которой драгоценность стоило очистить. А все способы Освящения, все воспитательные действия Духа открывают внимательному служителю новое понимание возможностей того существа, на которое столь щедро изливается благодать. Думаю, нам следует с недоверием относиться хотя бы к форме, в которой мы держимся любой богословской идеи, если она не углубляет в нас чувства драгоценности человеческой души, сначала запечатлевая его как убеждение, а затем разжигая в

страсть. Нет ни одной истины о Боге, доступной человеку, которая законно не приносила бы этого плода. Прошу вас всё чаще испытывать способ, каким вы держитесь Божьей истины, по его способности наполнять вас почтением к духовной жизни человека.

25 Глядя на служение Иисуса, мы ясно видим: Он был исполнен благоговения перед природой встречавшихся Ему мужчин и женщин. Во всём Его знании о Боге не было ничего, что не делало бы детей Его Отца драгоценными для Него. Мы видим это даже в Его возвышенной и нежной учтивости. Как часто я видел у служителя манеры то горделиво отстранённые, полные сознания собственной важности, то приторные и заискивающие, с недостойной мужчины слабой ласковостью, и думал: ему недостаёт того благородного соединения достоинства и кротости, которое приходило к Иисусу от Его божественного проникновения в ценность человеческой души.

26 Позвольте одним словом назвать ещё один источник познания этой ценности. Лучше всего мы узнаём, чего стоит душа, трудясь ради неё. Если когда-нибудь в вашем служении души порученных вам людей потускнеют перед вами и вы усомнитесь, обладают ли они такой ценностью, чтобы отдавать за них жизнь, — идите и трудитесь для них; и в труде их ценность станет вам ясна. Идите, попытайтесь спасти душу — и увидите, насколько она достойна спасения, насколько способна к самому полному спасению. Не размышляя о ней и не говоря о ней, а служа ей, вы узнаёте её драгоценность. Так отец узнаёт ценность ребёнка, учитель — ученика, патриот — родины. Так и христианин, живя и умирая ради душ своих братьев,

узнаёт ценность тех душ, ради которых жил и умер Христос.

27 И если вы спросите, верно ли на деле то, что я излагал в теории, видит ли человек, год за годом ежедневно трудящийся ради душ, проблески такой их ценности, которая не только оправдывает его малый труд, но даже делает убедительным дело Христа, — я отвечу: несомненно, да. Весь прочий интерес и всё удовлетворение служения завершаются в этом: год за годом служитель всё глубже видит, насколько человеческая душа, ради которой он трудится, достойна бесконечно большего, чем он может для неё сделать.

28 Я не знаю лучшего завершения моих лекций, чем это свидетельство. Да найдёте вы его истинным в собственном опыте. Да становятся человеческие души для вас всё драгоценнее по мере того, как вы всё ближе подходите ко Христу и всё совершеннее видите их Его глазами. Лучшего благословения вашему служению я просить не могу.

29 И да направляет и хранит вас всегда Бог, Отец наш.

Примечания

1. Неизвестный мне друг уже после произнесения этой лекции обратил моё внимание на следующие добрые слова Коттона Мэзера. Они взяты из «Ratio Disciplinæ», с. 59–60. «Если церкви слышат, как служители хвастаются, что провели в кабинете всего несколько часов в субботу или около того, они считают, что такие люди скорее хвалятся собственным стыдом. Импровизированными проповедями своих искусных служителей они иногда могут восхищаться, когда внезапность не была намеренно избранным обстоятельством. Но как один древний человек в ответ на упрёк в подготовленности своих публичных речей — о предметах менее важных, чем спасение душ, — сказал: „Я устыдился бы неучтивости обратиться к столь великому и мудрому народу с чем-либо, кроме обдуманного“, — так и лучшие служители Новой Англии обыкновенно постыдились бы обращаться к своей пастве без предварительного размышления». ↑

2. В первом издании (1877), с. 52, напечатано «первый вопрос», хотя по смыслу речь идёт о втором вопросе — заботе о собственной славе. Исправлено на «второй» по контексту и изданию 1894 года. ↑

3. В первом издании, с. 139, напечатано «one eye» («один глаз»); исправлено на «our eye» («наш взор») по контексту и чтению издания 1894 года. ↑

4. «Войной против мятежа» (War of the Rebellion) автор называет Гражданскую войну в США 1861–1865 годов, пользуясь обозначением, принятым сторонниками Союза. ↑

5. В этой лекции исправлены очевидные опечатки первого издания по контексту и изданию 1894 года: «make» на «made» (с. 144), «unavailable» на «invariable» (с. 160), «that advises he» на «that he advises» (с. 165). ↑

LIFE FOR GOD

ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книги на русском и английском, аудиозаписи, духовные беседы и мастерская проповедника.

Веб-сайт

lifeforgod.church

Нажмите на адрес или отсканируйте QR-код камерой телефона.

Читать эту книгу онлайн